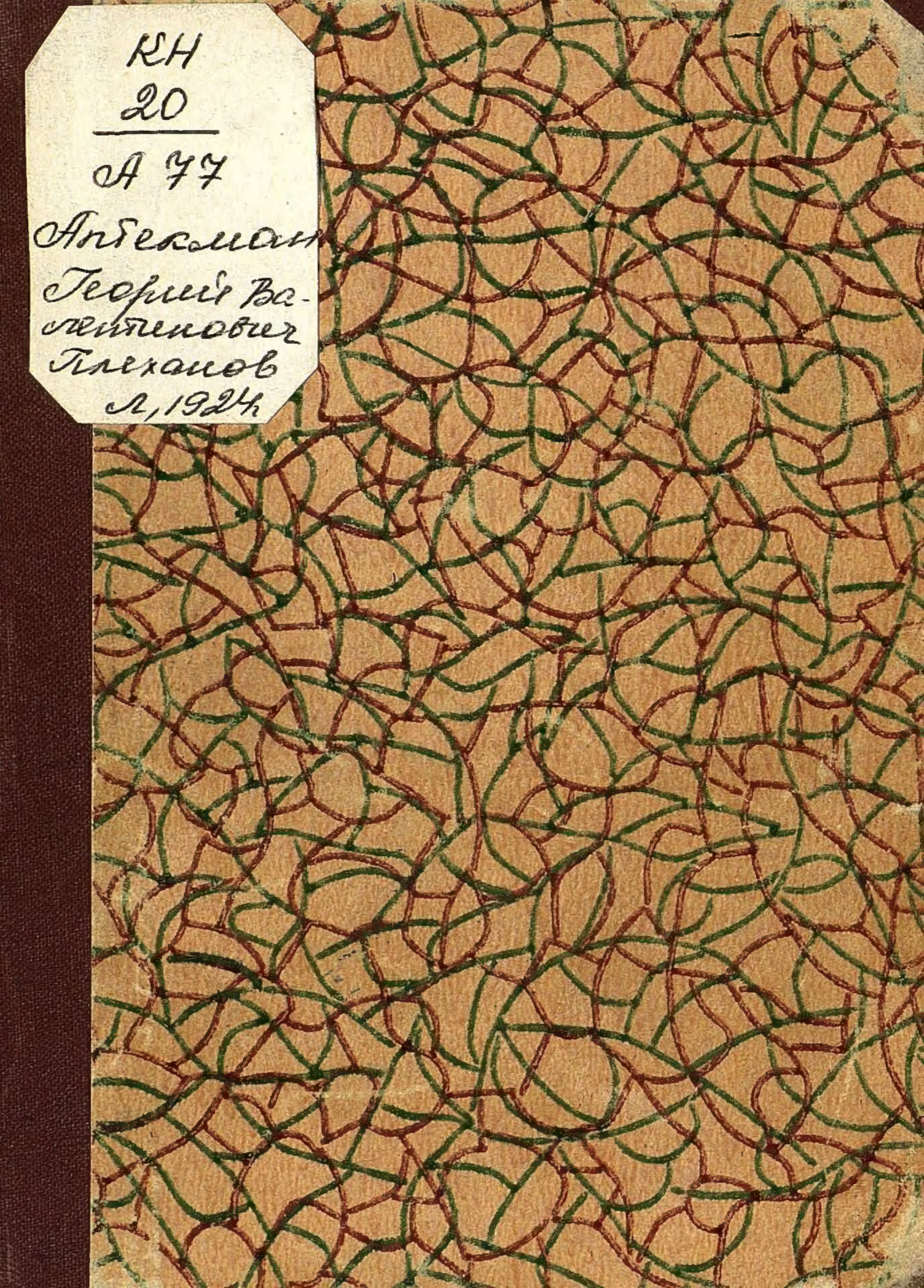

КН
20
А 77
Аптекман
Георгий Ва-
лентинович
Плеханов
Л, 1924 г

Плеханов

О. В. АПТЕКМАН

ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

ЛЕНИНГРАД
«КОЛОС»
1924

О. В. АПТЕКМАН

ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ



ЛЕНИНГРАД
«КОЛОС»
1924

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока.

Колич. предыд. выдач..................

«С тех пор, как я правильно понял марксизм, я всегда думал, что революционер изменяет самому себе и «своему новому принципу», если ограничивается одним внешним революционированием».

Плеханов.

(Собр. сочин., т. I, Предисловие, Ленинград, Гиз., 1920 г., с. XVI).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

		стр.
	Вместо предисловия	7
I.	Мое знакомство с Плехановым	9
II.	Плеханов—агитатор	20
III.	Плеханов,—член Редакционной Коллегии органа «Земля и Воля»	24
IV.	Плеханов, как агитатор на Дону среди казаков	28
V.	Плеханов и Воронежский съезд. Выход Плеханова из общества «Земля и Воля»	31
VI.	Плеханов и «Черный передел». Отъезд его заграницу	35
VII.	Первое свидание с Плехановым заграницей	40
VIII.	Второе свидание с Плехановым. Плеханов—семьянин. Плеханов—идейный лидер русской социал-демократической рабочей партии	53
IX.	Наши беседы. Журнал «Современная Жизнь». Мое сотрудничество по настоянию Плеханова. Мои воспоминания о «Земле и Воле». Точка расхождения по поводу оценки влияния Михайловского в 70-х годах	59
X.	Учитель и ученик. Свидание. Последнее прости	91

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Тебе, русский рабочий, посвящаю я мои бледные воспоминания о назабвенном Георгии Валентиновиче Плеханове.

Незабвенном потому, что он один из первых, кто, в раннюю еще молодость свою, основанием «Группы Освобождения Труда» заложим *первый* камень под будущее великое здание *Российской Социалдемократической Рабочей Партии.*

Незабвенном еще и потому, что он не только был «основоположником» твоей партии, но и бессмертным твоим *идеологом:* он, Г. В. Плеханов, написал для тебя великую книгу *русского* социализма. То— многотомный, монументальный труд всей красивой его жизни,—труд упорный, настойчивый, высоко талантливый, проникнутый несокрушимою верою в твою великую миссию, горячей и верной преданностью тебе, как единственно мощному строителю *новой* жизни, как непреклонному «могильщику» трижды проклятого мещанского строя, мещанского миропорядка, мещанского мироощущения.—Незабвенном, наконец, Плеханове еще и потому, что он оставил тебе великий святой завет, который ты, друг-товарищ русский рабочий, должен крепко запечатлеть в своем здоровом пролетарском мозгу и большом твоем пролетар-

ском сердце. Этот завет: *«Русская революция победит или как революция пролетариата, или совсем не победит»* [1]).

Помни же крепко этот завет учителя. Ты уже стал на путь победы. От твоих мощных шагов—уже дрожит земля под ногами буржуазии. Удары твоего пролетарского молота дробят уже твердыни буржуазного общества. Еще два-три мощных удара—и воздвигнется *твое новое*, во всей красоте и величии, здание, и «человечество,—говоря пророческими словами Энгельса,—сразу сделает скачок из царства необходимости в царство свободы». То будет пролетарское царство, царство *человека.* То — провиденциальная твоя миссия, русский рабочий. Крепче и крепче сожми железное кольцо, которым ты должен раздробить все устои современного буржуазного миропорядка. «Пусть же не ослабнут твои мышцы, пусть не дрогнет твоя железная рука. Пусть дети твои и дети твоих детей не скажут некогда, что отцы наши дрогнули в борьбе с угнетателями и насильниками, что смягчились их сердца, когда нужно было сокрушать врага!» [2]).

Так говорит престарелый уж революционер 70 годов, твой неизменно верный тебе, русский пролетарий, друг-товарищ,—

автор.

---

[1]) Курсив мой. *А.*

[2]) Слова в ковычках принадлежат Вл. Гал. Короленко («Сказание о римлянине Флоре» и т. д.). *А.*

I.

Мое знакомство с Плехановым [1]).

Плеханов-землеволец.

1876 год надо считать годом, в течение которого окончательно оформилось и установилось революционное народничество. Процесс развития и устроения этого революционного направления сопровождался с самого начала этого года деятельным стремлением к организационному строительству в уцелевших от разгрома 1873—74 года ячейках и группах революционно настроенной молодежи. Шла энергичная мобилизация наличных революционных сил и набор новых. Новые широкие задания потребовали собирания сил и их сплочения, планомерного и систематического революционного действия. Работа в этом направлении шла повсеместно во всей России, но особенно деятельно выявилась она, по моим воспоминаниям, в Петербурге. Последний всегда задавал тон во всем, и это вполне естественно: то был центр умствен-

---

[1]) О. Г. В. Плеханове я уже не раз говорил—по иным поводам и в другой связи. Понятно, что здесь опять будут неизбежные по самой натуре мемуаров повторения. Прошу, поэтому, снисхождения читателя. *А.*

ной жизни страны по преимуществу. В этот именно процесс переборки революционных сил того момента попал и Георгий Валентинович Плеханов, и тогда же, зимою 1875—76 года, я лично познакомился с ним. Познакомил же меня с Георгием Валентиновичем мой старый по гимназии еще товарищ, студент-медик, если не ошибаюсь, Успенский. Он встретил меня на улице, крайне обрадовался и пристал, чтобы я зашел к нему, соблазняя меня всемерно тем, что с ним живет чудо-юноша, горняк Плеханов. Некогда было мне, но я согласился все-таки на просьбу моего, можно сказать, влюбленного в Плеханова земляка. Когда мы вошли, нам навстречу поднялся с кушетки юноша, с книгой в руках.

Успенский назвал меня. В глазах Плеханова заискрилось любопытство, а я прямо-таки был сразу поражен этими глазами. Миндалевидной формы, умные, с холодным блеском, глаза. А дальше я рассмотрел уж и красивый, высокий, белый, точно из мрамора выточенный, лоб, матового оттенка лицо, каштанового цвета, закинутые назад мягкими прядями, волосы, небольшую темнорусую лопаткой бороду, стройную, хотя и широкую в плечах, фигуру. В общем весьма привлекательная и оригинальная внешность. Я не спускал с него глаз. Машинально взял книгу из его рук: «Отечественные Записки», раскрытые на статье «О счастьи» (кажется, Михайловского). Сейчас не помню ни содержания этой статьи, ни завязавшегося между мной и Плехановым спора по поводу этой статьи. Помню только отчетливо то впечатление, которое произвел на меня критический подход Плеханова к этой статье. Что-то не только умное, но и оригинальное, как в манере его говорить, аргу-

ментировать, так и в содержании самой аргументации. Я подумал, слушая его: прав Успенский! этот юноша действительно выдающийся, даровитый и очень умный. Он уже начитан и читает много, судя по книгам на столе, на этажерке и на полках. Он, по-видимому, работает много по своей специальности, судя по его химической лаборатории,—небольшой, правда, но снабженной в достаточном количестве химическими принадлежностями. Все это я рассмотрел (я сам очень любил химию), бесцеремонно обозрел все, что было по части научного вообще в этой комнате-лаборатории.

Когда я окончил свою ревизию и удовлетворил свое любопытство, я сел, а Плеханов поместился на кушетке против меня, не спуская с меня глаз. Некоторое время мы молчали, как бы в ожидании нового столкновения. Но поднялся не спор, а товарищеский обмен мыслей.

— Мы вот спорили о счастьи,—заговорил, первый, Плеханов,—но, ведь, все это чистая *феория*... [1]) оставим ее—расскажите нам что-нибудь о деревне... вы оттуда... это и более важно, и более интересно,— полагаю...

Но маленькое отступление. По приезде моем в Петербург, мне приходилось много вращаться среди молодежи и делиться, между прочим, с ней моими деревенскими наблюдениями и впечатлениями. Устраивались импровизованные собрания в 5—6 человек,

---

[1]) Т. е. теория. И Плеханов ударил на этом слове, поблескивая иронически своими умными глазами. Плеханов *всегда* прибегал к этому излюбленному им слову «феория», когда спор принимал *слишком уж теоретический характер*.

А.

в которыми я вел простую беседу. Меня слушали охотно, так как я говорил о деревне, о мужике.

Деревня же и мужик больше всего интересовали молодежь. Да и момент был очень важный: в перспективе улыбалось уже *новое* пилигримство в деревню с целью, прежде всего, устройства в деревне прочных революционных поселений. Ну и приходилось мне каждый почти вечер устраивать, так сказать, гастроли на тему о деревне. Я собственно для этого и приехал в Петербург: позондировать революционную почву и пропагандировать народничество, к которому я,—как и многие другие, работавшие в деревне,—пришел путем опыта. Плеханов и сожитель его Успенский, конечно, знали это. Просьба же Плеханова, таким образом, являлась лишь отголоском того, чего тогда вся, готовая поселиться в деревне, молодежь хотела: *предварительно* узнать что-либо о народе из первых, так сказать, рук.

Я возразил Плеханову, что вопрос о счастьи отнюдь не праздная «феория», как он выразился, что теория счастья, философски построенная, непосредственно соприкасается с вопросом о *народном* благе, о *его* счастьи, а, ведь, этого именно он, народ, лишен в настоящее время, и за достижение этого счастья он бьется, как рыба об лед, и что мы-то сами нашей революционной борьбой стремимся к *этому* же, только к этому исключительно: счастье народа—наше счастье, благо его, *как он это понимает*—наше благо.

Плеханов закинул голову и пытливо сверкнул на меня глазами.—Вы правы, А—н. Не пришло мне это в голову. Ну, приступайте, я весь слух. И я «приступил». Передал все то, что тогда интересовало

всех: факты, факты из деревенской жизни, которые сами за себя говорили. Конечно, я их осветил известным образом, и это освещение, само собою, прошло через призму народнического учения, которое, как я выше уже заметил, почти что готово было в моей голове. Иначе и не могло быть. Из своей шкуры не выскочишь. Но, говоря о *настроении* народа, я был,—помню я это очень отчетливо,—более, чем объективен, если можно так выразиться. Я сказал, что «народ» крайне угнетен своей тяготой, пришиблен (а наблюдения мои касались таких различных губерний, как Псковская, Пензенская и отчасти Петербургская). Но таит в себе эта пришибленность с несомненностью одно: это—глубоко скрытая неискоренимая ненависть народа к «барину», к «господам». И эта ненависть с необходимостью фатума вырвется когда-нибудь наружу, как стихия Когда?.. близок ли этот столь желанный нами момент взрыва народного негодования? На это я ответа категорического дать не могу. Но он придет, этот момент. Так было всегда и повсюду, во всех странах и у всех народов. Народ тих сейчас, но этот же народ говорит: «в тихом омуте черти водятся». Золотая, по моему, это поговорка, мудрая и глубоко истинная. Все подобные поговорки приподнимают покров с таинственной души народа и вскрывают сущность этой души — ее чаяния и искания... И эти чаяния все чаще и чаще, помимо воли народа, выражаются теперь открыто и повсеместно одним только словом: «земля! земля!» Настроение, таким образом, нашло уже свою внешнюю форму проявления: *в одном слове* пока. А это уже много значит, многое обещает. Оно дает нам одно весьма важное указание: будем всячески призывать этот мо-

мент, приближать его, как этому учил нас наш Чернышевский. И все остальное приложится нам.

Мои хозяева слушали меня с глубоким вниманием. Плеханов же был прекрасен. Как живой, стоит передо мной этот чудный юноша, полный жизни, сосредоточенно всматривающийся в мои глаза. Склонив слегка голову, он продолжал упорно молчать. Но в этом молчании сколько было ума, в этой склоненной умной головушке сколько мыслей!.. Мне кажется, что он в то время, говоря словами Гл. Ив. Успенского, «молчал о многом». Мне кажется еще, что тогда-то именно во мне зародилась та глубокая симпатия к нему, к Плеханову, которая сохранилась у меня на всю мою жизнь,—все равно, близко был он от меня или далеко, видался ли я с ним, или нет. Все это расположило меня к откровенности. Я вынул свою довольно объемистую записную книжку, в которую заносил было мои наблюдения и всякие цифры, иллюстрирующие эти наблюдения, и приступил к передаче всего виденного и слышанного мною в деревне. Рассказал о семье, об общине, об обычном праве, о суде, о технике переделов земли, о религиозных и политических взглядах народа, о его тяге к земле, как к «кормилице».

Милый юноша слушал с глубоким вниманием и интересом. Иллюстрации, которые я приводил из практики волостного суда, вызвали краску на матовом его лице. Глаза становились глубже, как бы проникая в самое существо затрагиваемых мною явлений народной жизни. Помню, когда я окончил, он сказал:

— Вы ничего не говорили об отдельной личности, словно ее нет совсем в деревне.

— Ее и нет, если хотите... Я наблюдал «мир», «обчество», но не индивид. Индивид, видите ли, растворяется в «мире», тонет в нем, как капля в «море-океане»...

— Но, вы, ведь, сталкивались с отдельными личностями?

— Конечно. Но, за небольшими исключениями, личность, как таковая, в деревне роли вообще не играет... Тон жизни задает «мир»... и только «мир»... Это—древне-греческий хор, если хотите...

— Это очень печально.

— Ничего не поделаешь. Я было начал с индивида, но запутался, как в дремучем лесу. И перешел к наблюдению, так сказать, масс, ибо убедился, что изучать массы, во первых, легче, чем изучать атомы, молекулы, легче установить или, по крайней мере, уловить какую-либо закономерность. А во вторых, только массовые наблюдения для нас важны, ибо массы и только массы делают историю, строят жизнь.

— Вы правы, А—н. В физике, говоря по аналогии, мы лучше знаем законы масс, их строение, чем, напр., мельчайших частиц.

— То-то; видите ли, мой метод был правилен...

Ну, а каково собственно *настроение* (ударяет на слове «настроение») народа? Я имею в виду, конечно, его революционное настроение.

Я некоторое время молчал, чувствуя на себе пытливый взгляд Плеханова.

— Что вам сказать насчет этого? Настроение вещь неуловимая... Преобладают сейчас будни, серые дни, тьма-тем повседневных интересов, неотложных, но мелочных, нудных, угнетающих... Но грянет гром,

разразится буря—и тогда будничное настроение превратится моментально в праздничное, и пир горою охватит тогда «мир...» А праздник этот ожидается, как «второе пришествие...» все думы народа, все его сокровенные мысли туда обращены... Они в душе его сокрыты...

Я исчерпал весь материал и поднялся, чтоб попрощаться.

— Мы еще, надеюсь, увидимся с вами, А—н?..

— О, да!.. обязательно!.. [1]).

Но человек предполагает, а обстоятельства располагают. Отвратительная петербургская погода с ее туманами и сыростью доканала, наконец, меня. Я простудился и с неделю пролежал в постели, врачи советовали оставить Питер. Я последовал этому совету и в половине марта 1876 года уже был на юге. Погостив с месяц у моих стариков, я уехал в Харьков. Там я вошел в довольно сплоченный кружок «Харьковско-ростовский». В числе его членов были, между прочим, Валериан Осинский и Боголюбов. Эти последние в то время находились в Петербурге и вступали в сношения с кружком Натансона. В Харькове я жил пока что интересами кружка и между делом учился сапожничеству.

---

6 декабря 1876 года. Газеты принесли известие о «казанской демонстрации». Мы были ошеломлены. В чем дело? По газетным сообщениям нельзя было разобраться, а наши товарищи, Осинский и Боголюбов, молчали.

---

[1]) Надо ли говорить, что я привожу лишь *смысл, содержание* нашего разговора тогда, но отнюдь не *буквальную* передачу его; *форму диалога* только воспроизвожу... *А.*

Наконец, мы узнали все подробности, узнали, что «оратор»—мой знакомый, Плеханов.

— Я его знаю, — сообщил я товарищам, — славный юноша...

В конце декабря меня и еще двоих моих товарищей, Тищенко и Мощенко, вызвали в Петербург, где наш кружок вместе с Натансоновским и построил общество «Земля и Воля».

Но в Петербурге я Плеханова не застал: его выпроводили на время заграницу, чтобы замести след. Тогда же решено было строить поселения в деревнях — одно из самых главных требований программы «народников-бунтарей». Проживши некоторое время в Борисоглебском уезде (Тамбовской губ.), я, по предложению нашего «Центра», переехал в Саратов, где уже обосновалась группа деревенских поселенцев. В числе их я застал в городе и Плеханова. Встретились хорошо, и между нами установились сразу самые близкие отношения. Много этому способствовали наши общие умственные интересы и запросы. Плеханов тогда основательно штудировал Маркса и Робертуса, я же—исторические науки. Непрерывный обмен мыслей не прекращался между нами. Мы все более и более сближались не только духовно, но и сердечно, и уже спустя 2-3 месяца близко сошлись. Очень близко. Я со дня на день ждал обещанного места в земстве,— места деревенского фельдшера. Плеханов тоже неудержимо стремился в деревню. В моих беседах с ним с глазу на глаз я убеждал его остаться в городе, работать среди городских рабочих, что, во-первых, весьма важно для общего дела, а во-вторых, больше всего подходит его силам, способностям, солидной уже подготовке его и, в третьих, некоторому

2



уже опыту его, в этом деле. Я указал ему на его работу среди рабочих в Саратове и на огромный успех ее, этой работы: рабочие восхищены им, глядят ему, как малые дети, в рот, когда он, Плеханов-то, говорит. Я горячо и, думается мне, резонно отстаивал свою точку зрения. Но Плеханов упорствовал: не такой он был человек, чтобы сразу отказаться от задуманного им начинания. И он стал энергично искать места учителя в деревне. Но скоро сказка сказывается, не легко дело делается. Главное препятствие — Плеханов уже тогда был нелегальным, а подходящего документа по министерству народного просвещения у него не было. К счастью, выручил его наш «дворник» А-др Дм. Михайлов [1]): его гимназический аттестат был совершенно чист в политическом отношении, и он, Михайлов, передал его в распоряжение Плеханова. Наша коммуна сочувственно отнеслась к стремлению Плеханова поселиться в деревне, благословила его, так сказать, и отпустила в Аткарск, где были учительские вакансии. Плеханов в Аткарске. Подает прошение председателю училищного совета. Последний, принимая прошение, просит его подождать ответа в приемной. Но тут-то случился неожиданно один курьез, который дорого стоил бы Плеханову, если бы он во-время не овладел собою. Дело вот в чем. Священник, член училищного совета, ознакомившись с бумагами Плеханова, вдруг заорал во все горло: — «Да, ведь, это Дмитрия Михайлова, моего большого приятеля, сын — как же!.. Дмитрий

---

[1]) А-др Дмитриевич Михайлов—одна из самых крупных революционных личностей землевольческого и народовольческого периодов революционного движения 70-х годов.

А.

Михайлов—почтенный человек». Восхищенный своим открытием, «батюшка» выскакивает в приемную и кричит: «Михайлов! Михайлов! Где же этот Михайлов?» Наш Плеханов встрепенулся было, но, быстро овладев собой, спокойно заявляет: «Я!». «Батюшка» удивился: как «вырос», каким «молодцом стал!» И стал расспрашивать о его родителях, общих знакомых, разных прочих делах, вникая с видимым благожелательством во все подробности. Наш «оратор», не моргнув глазом, выложил все, как по писаному. «Ладно, ладно, молодой человек, буду хлопотать за вас!»—и ринулся обратно в совет. Но тут-то нашла коса на камень: исправник уперся, как бык—не согласен, да и только. Дмитрий Михайлов-де, может быть, и благомыслящий человек, а сын его, тем не менее, может и социалист — «не согласен на то!» Так-то Плеханов вернулся из Аткарска ни с чем. Плеханов так живо, с такими, так сказать, озорническими блестками в глазах передавал нам всю сцену разговора его с «батюшкой», что мы все, слушая его, покатывались от смеха. Он был неподражаем, этот чудный озорник-«оратор».

Товарищи, само собою, были очень огорчены этой неудачей Плеханова. Но я в душе был доволен: я настолько уже присмотрелся к Плеханову, что был уверен, что ему было бы трудно в деревне, и он, несмотря на его характер, скоро увял бы там. Здесь же, в городе, он был незаменим. В этом я вскоре убедился по следующему поводу. Понадобилась для саратовского кружка молодежи наша программа. Ведь народничество только что тогда зародилось и мало было известно молодежи. Я написал программу, дал ее на прочтение Плеханову. Прочи-

тав ее, он вернул ее мне с насмешливой искоркой в глазах:

— Хорошо, основательно написано, но зачем ты начинаешь с Адама?.. Пойми же, Осип, молодежи не Адам нужен, а программа...

— Пусть. Напиши ты, и наши решат,—решили мы.

Сел и стал писать. Листочки так и летали по сторонам, никаких поправок, никаких помарок. Окончил в 20—30 минут, собрал листочки, сложил в порядке и передал мне, с той же искрой в глазах. Прочел внимательно, раз, другой. Прелесть, да и только! Нет лишнего слова, нет лишнего знака препинания — цельно, сжато, убедительно и содержательно. Писатель да и только. Я, уже не представляя на суд товарищей,—мою ли программу принять, или Плехановскую,—самолично решил передать молодежи Плехановскую.

А места фельдшера все нет, как нет. А тут пошли слухи, подозрения, явились уличные «наблюдатели». Решено было ликвидировать коммуну, а мне и Плеханову совсем уехать. И мы в разное время и уехали в Петербург.

II.

Плеханов—агитатор.

Встречались мы на конспиративной квартире, а жили вместе, не разлучаясь, где бог пошлет приют. Большей частью жили у студентов, валялись на полу, а занимались где-либо в углу. В Петербурге тогда случайно собрались многие члены нашего общества;

Валериан Осинский, Дм. Лизогуб, Попов, Квятковский и многие другие. Образовался, таким образом, совместно с «центром» импровизованный Большой Совет. На Совете тогда обсуждались важные вопросы: наша программа и опять-таки предстоящая работа наша в деревне. Плеханов не пропускал ни одного собрания, принимал деятельное участие в дебатах; его внимательно всегда слушали, нередко принимали его предложения. На совещаниях он неизменно держался с товарищами весьма корректно, внимательно выслушивал мнения товарищей, но всегда настойчиво отстаивал свое мнение, аргументируя сильно, логично, но никогда не сходя с принципиального пути: «принцип», руководящее теоретическое начало всегда были тем светочем, с помощью которого и во имя которого он проводил и защищал свои практические предложения. Ничего личного, субъективного, несмотря на горячий, необузданный порой характер его. Благодаря ему главным образом (и отчасти только мне), он провалил на нашем Большом Совете два, так сказать, еретические предложения Валериана Осинского: *о самозванстве* в деле организации в народе боевой дружины, во первых, и практике *экспроприации* в деле дезогарнизации правительственного механизма—во вторых. Это—громадная заслуга Плеханова, не только теоретическая (*принципиальная*), но и практическая (*тактическая*). Он выходил из себя (и тогда он был беспощаден, зол, саркастичен), когда слышал мнения, «свободные, — как он любил выражаться, —от всякой теории». О, как он тогда донимал своего противника! В Петербурге Плеханов развернулся во весь рост. Он с громадным успехом вел деятельную агитацию одновременно и

среди молодежи, и среди рабочих — в особенности. По предложению Совета решено было сорганизовать демонстрацию с подачей адреса Палену. Хорошо помню подготовильную сходку на Петербургской стороне. На сходке от землевольцев был Преображенский, Плеханов и пишущий эти строки. В качестве гостя был и Фесенко, единственный среди молодежи в то время «марксист» (слова Дейча). Мы предложили Фесенко написать адрес, что последний и исполнил. Но боже, что за стиль! Я переглянулся с Плехановым: целый поток мечущих сарказмом стрел увидел я в его глазах. Как быть? Предложили волей-неволей написать Плеханову. Мигом, буквально мигом, все было готово. Что за прелесть! Сильный, сжатый, классический стиль, сильная аргументация, великолепно построенная. Я ликовал. Я готов был расцеловать его, этого Плеханова. А он глядел на меня, только поблескивая своими умными глазами. Ну, и молодец же, этот «Жорж!» можно было прочитать в глазах землевольцев, когда адрес был прочитан вслух. Как живой, стоит он сейчас передо мною. Как хорош был он в этот вечер! Умница, умница, светловушка дорогой!..

Агитационная работа Плеханова на прядильной фабрике Кенига в Петербурге впервые прочно завоевала рабочих. *Первое солидное завоевание* землевольцев среди питерских фабричных, благодаря Плеханову. Талантливый, с огоньком, оратор, удивительный диалектик, логический последовательный ум, Плеханов очаровывал рабочих. «Орел»—вот кличка, данная ему рабочими. И действительно. Орленок «казанской демонстрации» вырос в орла-агитатора рабочих. Пожилые рабочие, а таковых было не мало,

слушали его, впиваясь в его глаза. А глаза его метали искры, то вспыхивая одушевлением, то загораясь злой иронией и пламенем гнева против своих идейных противников. Он был еще молод, а трибун ярко уже сказывался в нем. Но не только трибун, а и глубоко убежденный человек, человек твердых устойчивых принципов. Его злая ирония по адресу «свободных от всяких принципов» людей (любимое тогда выражение Плеханова) еще и поныне и сейчас словно раздается в моих ушах. И это кардинальная, так сказать, черта умственной индивидуальности Плеханова. Никто из нас, его товарищей, не был так строго принципиален—не в догматическом смысле, не ортодоксально,—нет же!—а *критически-осмысленно*, как Плеханов. То, что усваивал Плеханов, усваивал он прочно, то, что он выработал упорной работой мысли, становилось интегральной частью его духовного содержания, неотделимой частью его мощного духовного «я». И он отстаивал и будет, как ниже увидим, отстаивать свое идейное достояние всеми силами своей души, всеми средствами своего критического и полемического дара. Он беспощаден, непримирим, но не как Аваакум-старовер, а как строгий мыслитель, как Сократ, привыкший исследовать разные основания. Вот почему с ним было так легко работать и, вместе с тем, как тяжело. «Hier stehe ich und kann nicht anders» (На этом стою я—и иначе не могу), так и веяло от всей его индивидуальности, притягивая к нему близких и отталкивая чуждых ему. Уже тогда у него была масса противников, уже тогда он своим жалом не давал им покоя.

Бывало, когда молодой Плеханов выступал в каком-нибудь собрании—за мгновенным движением слушате-

лей, то сочувственным, то враждебным, воцаряется молчание. Плеханов умел заставлять себя слушать. Его не смели прерывать—на импровизированной трибуне стоял властный человек, который «знал одной лишь думы власть, одну—но пламенную страсть».

Таким он выступал раз на большой сходке в библиотеке М.-Х. Академии, собравшейся по поводу проектировавшейся паленской демонстрации. Есть предание у евреев, что от проклятия Моисея пожелтело сразу лицо Израиля в пустыне. А я видел, как краснели и становились зелеными лица его слушателей—противников. Краснели и зеленели, но отразить его удары они не были в состоянии. Что слово, то отравленная злой иронией стрела, что положение, то забронированный медью принцип.

Таким он остался на всю жизнь, не считая самого драматического момента ее—империалистической войны.

Но об этом ниже.

III.

Плеханов—член редакционной коллегии органа «Земля и Воля».

Весна 1879 года. Глубокими чертами врезалась она в моей памяти. Я был вызван в Петербург нашим «Центром», в виду недостатка сил в «Центре». Вышли уже №№ 1-й и 2-й (25 октября и 15 декабря 1878 года) «Земли и Воли», центрального органа общества «З и В». Плеханов, по настоянию А. Д. Михай-

лова, вступает в члены редакционной коллегии. Плеханов впервые выступает на ответственную и тяжелую арену литератора. Ответственную и тяжелую потому, что в то время выпукло вырисовывалось новое настроение в среде землевольцев, обозначался уже поворот фронта в другую сторону — в сторону *политического* террора и пропаганды, хотя пока только и нерешительной, политических идей и тенденций. На Плеханове, как редакторе органа, лежала, прежде всего, обязанность изложить программу народничества публично, в печати в первый раз. (*Печатной* программы до того времени не было, а циркулировали писанные программы). И Плеханов выступил в «Земле и Воле» в №№ 3 и 4 с изложением народнической программы в статье «Закон экономического развития и задачи социализма в России». Плеханов подводит под свое программное построение основы марксизма— *исторический материализм*. Не будучи тогда еще марксистом, он пользуется, однако, методом марксизма—методом *диалектического* исследования. Это лучшее, что было написано в подпольной литературе о народничестве: сжато, основательно и захватывающе. Плеханов, как литератор, как публицист, уже готов, во всей его силе, полноте и красоте. Он готов, он отлитая уже в определенную своеобразно-пленительную форму фигура. Жизнь обогатит его ум опытом, знанием, углубит его мысль, расширит поле его исканий, но, по природе своей, Плеханов останется тем же: тонким мыслителем, исследующим разные основания, неподражаемым диалектиком и полемистом.

И этим орудием он будет бороться, не жалея своих сил. И все половинчатое, колеблющееся, беспринципное, оппортунистическое отбрасывается решительно им,

Плехановым, как что-то грязно-мусорное и дурно пахнущее. Тут Плеханов неумолим. И так и следует. Его славная борьба, к слову сказать, с бернштейнианством и ревизионизмом—славные страницы в богатом литературном его наследии. Semper idem. Неизменный борец за чистоту принципов и неприкосновенность идеалов.

Но сотрудничество в «Земле и Воле» не принесло Плеханову душевного мира. Оно, можно сказать, отравило ему существование. Почему? Он в коллегии столкнулся с Тихомировым, человеком совершенно другого закала. Поверхностный популяризатор, совершенно беспринципный, он тормозил работу Плеханова, стоял у него на пути. Они не выносили друг друга, и начались трения и какие-то,—стыдно даже упоминать об этом,—интриги и подсиживания. Тихомиров гибок, изворотлив, как налим: возьмешь его за голову, а он хвост подставляет и ускользает нередко. Плеханов-же—прямолинеен, как прямолинейна его мысль. Совершенно различные индивидуальности [1]). Где уж тут сходиться? И вот в № 5 «Земли и Воли» неожиданно появляется передовица, написанная Тихомировым. Говорю—«неожиданно», ибо в № 5 продолжать дальнейшее развитие программы должен был, согласно раньше состоявшемуся постановлению Центра и редакционной комиссии, Плеханов. Как это вышло—я не мог доподлинно узнать. Но факт на лицо. Плеханову была нанесена чувствительная и совершенно незаслуженная обида. И Плеханов долго, долго не за-

[1]) Более подробно об этом см. «Памятники агитационной литературы, т. 1-й, Черный передел, с предисловием В. Невского и вступительной статьей О. В. Аптекмана. Стр. 41—64. А.

бывал этой обиды. Еще в 1906 году, когда, после долгой разлуки, мы снова встретились, он, вспоминая свои отношения к Тихомирову, отзывался о них с горечью:

— Ты, Осип, не работал с ним, а потому не знаешь, что я только вытерпел...

Эти несогласия редакторские пошли дальше, были вовлечены и другие товарищи общества «Земля и Воля», а переполнил чашу—крутой поворот некоторых товарищей в сторону террора, как исключительного орудия политической борьбы. Плеханов настолько удалился от товарищей, что стал реже посещать наши общие собрания. Он, который говорил:—«Я—военный человек, признаю дисциплину», он стал манкировать своими посещениями. И когда наше собрание постановило, чтобы в числе других товарищей выехал ко дню покушения Соловьева из Петербурга и Плеханов, то я лично ему передал это постановление, и он не медля выехал в провинцию. Но избегая непосредственных сношений с товарищами-террористами, он продолжал энергично работать среди рабочих. Собственными его усилиями была организована им из осколков разгромленного «Северно-русского союза рабочих» самостоятельная группа, с которой Плеханов вел систематическую пропаганду.

Я пристал к нему, как ближайший его помощник. Прекрасно вел он дело. В целом ряде лекций о революционном движении среди народа, начиная с бунта Ст. Разина и кончая крестьянскими пореформенными бунтами, он развернул яркую картину бунтовщического мятежного духа русского народа. Он показал, что мужик не переставал бунтовать, раз к тому были благоприятные условия. Он умел, кроме того, иллю-

стрировать свои лекции убедительными параллельными примерами из истории крестьянства западных народов (крестьянские войны XVI стол., жакерия XVI и XVIII ст. во Франции), причем с удивительной ясностью умел вскрывать как внутреннюю природу, так и движущие моменты этих народных движений. Он всегда указывал на структуру общества, на соотношения сил общественных и на основу, лежащую в самом строении общества—на экономический базис. Удивительно, как он, Плеханов, уже в то время проникся материалистическим пониманием истории, словно он родился на свет уже марксистом в готовом виде, как Минерва из головы Юпитера.

IV.

Плеханов, как агитатор на Дону среди казаков.

Но Плеханов выдавался тогда не только как начинающий писатель, но и как выдающийся агитатор. Об агитационной его работе среди рабочих Петербурга мы выше уже говорили. Но этим одним не исчерпывается еще агитационная работа Плеханова. Летом 1878 года вспыхивают на Дону среди казаков серьезные волнения, по поводу введения у них новых правил пользования общественными лесами. Общество «Земля и Воля» командирует туда Плеханова. Лучшего выбора оно не могло сделать.

В короткое время Плеханов, в сотрудничестве с местной революционной казацкой группой, вступает в непосредственные сношения с казаками. От искры

загорелась Москва, говорит предание. От искр Плеханова занялся пожар во всей почти области Войска Донского. Плеханов экстренно вызывает к себе А. Д. Михайлова для организации боевых дружин. Тем временем пишет прокламацию «Славному Войску Дона» и мчится в Петербург, чтобы отпечатать ее. По дороге он как-то разминается с Михайловым. Но в Петербурге его ждет страшный удар: весь центр разгромлен. Плеханов, ничего не зная об этом, хочет поехать на Царскосельский проспект, где жила Малиновская. Позвал извощика, тот запросил 75 коп., а в кармане у Плеханова было лишь 30 коп. Как быть? Он решил поехать на М. Итальянскую, где жил тогда присяжный поверенный Ольхин. Когда Плеханов вошел к Ольхину, последний всплеснул руками: — «Хорошо, что у вас не оказалось 75 коп.: на квартире Малиновской засада, все друзья захвачены». Так в данном случае слепая судьба совершила благое дело — спасла Плеханова от рук правительства. К счастью, Кравчинский был тогда цел и невредим, и Плеханов при помощи Ольхина нашел его в Петербурге. Александра Михайлова тогда не было в Петербурге: он, как мы уже знаем, был по дороге в Ростов, куда он был вызван Плехановым. Но Плеханов пока что не складывает оружия. Он выпускает прокламацию к донским казакам и ведет энергичную пропаганду среди молодежи, пытаясь привлечь охотников на Дон. Молодежь слушает его с большим интересом, но не двигается с места. Тогда он завязывает сношения с харьковской молодежью, и оттуда вскоре отправляется небольшой отряд.

Но волнение среди казаков, за отсутствием агитации и организации, сразу как будто упало и совсем

затихло. Плеханов долго не мог помириться с этой неудачей и много лет спустя, рассказывая мне об этой попытке, сильно волновался, посылая нелестные отзывы по адресу нашей молодежи.

— Что это за люди? Нет характеров, нет темперамента, на словах на все готовы, а как к делу подходит вплотную—на попятный двор и в подворотню... «Суждены нам благие порывы, но совершить ничего не дано»—продекламировал он с экспрессией...

— Откуда же могли появиться характеры, когда никакой школы-выучки не было?

— То-то школы нет, дисциплины нет... ни знания, ни выдержки... а вот на террор, на минутный порыв их явятся сотни. То-ли рабочие?!..

В Донской области Плеханов не ограничивается одной только текущей агитационной работой. Он посылает оттуда свои в высокой степени содержательные корреспонденции. Мы их читали тогда с захватывающим интересом. Каждая корреспонденция—это золотая крупинка в идеологию народничества. Он пользуется текущими фактами казацкой действительности, и пользуется умно, осмотрительно, вдумчиво, чтобы осветить ту или другую сторону народничества. Как сравнишь эти корреспонденции молодого, начинающего еще только литератора с корреспонденциями «наших корреспондентов» в легальных изданиях—какая разница! Недаром Щедрин обессмертил их своей ядовитой сатирой.

V.

Плеханов и Воронежский съезд.— Выход Плеханова из общества «Земля и Воля».

Во вторую половину июля 1879 г. собрался землевольческий съезд в Воронеже. Съезд был вызван исключительным положением вещей, как в революционной среде вообще, так и землевольческой в частности. Террористическая борьба все более и более захватывала революционную часть молодежи, вовлекая в сферу ее влияния и значительную боевую часть землевольцев. Назрела, поэтому, настоятельная необходимость пересмотреть старую программу, внести в нее пополнения и поправки, диктуемые новым ходом вещей. Одним словом, пересмотреть программу в корне, чтобы дать соответствующую времени идеологию («доктрину», как мы тогда говорили), которая вместе с тем была бы оправданием такой программы. Кроме того назрело много задач, хотя второстепенных, но требовавших, тем не менее, неотложного их решения. Съезд собрался около 20-го июля 1879 года. Настроение собравшихся товарищей было миролюбивое. Никто и не думал о расколе. Напротив, все помыслы были, в виду крайне обострившейся борьбы с царизмом, еще крепче сплотиться, чтобы дружнее и в полной дисциплине продолжать борьбу.

Принципиальные разногласия, если тогда они были, касались, главным образом, некоторых только частностей программы, но не *ее основ. Общее миросозерцание было народническое.* Это несомненно. Только один член нашего общества стоял уже тогда особо. Своим проницательным умом он провидел уже

необходимость, неизбежность раскола, ибо новое террористическо-политическое направление шло уж слишком вразрез с народнически-социалистическим. Он провидел, что возможен, пожалуй, временный компромисс, но только *временный*. Нельзя урезывать цельную идеологию, выдвигая на первый план политику и затушевывая экономику, — *душу народничества*. Этот человек, который думал так, был Плеханов. И он выступил на съезде во всеоружии своей народнической мысли, защищая народническую программу от каких бы то ни было посягательств на нее. Чиста и неприкосновенна должна быть народническая идеология от всяких примесей к ней, только искажающих ее, эту идеологию. Во имя чего мы боремся? Во имя Земли и Воли, этого извечного идеала народа.

«Земля» стоит *на первом* плане, «Воля»—*на втором*. Это значит: освободим народ через народ *экономически*, и в последнем результате получится Воля—воля, как *побочный* продукт экономической борьбы. За этот лозунг пойдет с нами народ, за политику же он бороться не станет, если не обернется,—чему история других народов учит нас,—*против* нас. Аргументация Плеханова была прямолинейна, резка и дышала глубоким убеждением, а потом и гневом, «святым гневом». Никто не говорил так увлекательно и сильно, как Плеханов, хотя и были другие выдающиеся ораторы, как Желябов. Речи Плеханова вносили живую струю в дебаты и сделали сессии конгресса очень интересными и содержательными. Ошибаются те, которые утверждают, что Воронежский съезд протекал вяло. Нет, тысячу раз нет! Это не было обычное публичное обсуждение дел, это был горячий и неудержимый порыв к воле...

Немец Тун мог так думать, и то со слов какого-нибудь мало осведомленного и не способного критически мыслить лица. Но высказываться так подлинному русскому революционеру, способному охватывать своей мыслью то бурное время—психологически невозможно. Ведь решалась судьба одной из выдающихся революционных организаций, решались жизненные вопросы,—как же можно их обсуждать и решать, ковыряя пальцем в носу, как гоголевский Петрушка? Я бывал на многих-многих собраниях нашей революционной молодежи, но такого выдержанного, спокойного, строго вдумчивого собрания я не знаю. Предложения дебатировались и потом ставились на голосование. Президент конгресса был человек умный, сильный и по своему положению в «Земле и Воле» всеми уважаемый. Самый уход *одного* только члена (Плеханова) из конгресса и окончательный выход его из организации указывает на то, что на конгрессе было подавляющее *единство* и живой интерес к тому, что на нем происходило.

Плеханов был все время в оппозиции, но это была не личная оппозиция, а строго принципиальная. Оппозиция его особенно обострилась, когда приступлено было к вопросу об органе. Постановили, чтобы «Земля и Воля» сохранила то направление, которое выражено в исправленной и дополненной на конгрессе программе. Тогда Плеханов попросил слова. Он начал с того, что прочел некоторые места из статьи «Листка Земли и Воли», по поводу покушения на жизнь Дрентельна, а именно те места, которые наиболее ярко рисуют возведенное уже в систему террористическое направление органа, и, окончив чтение, обратился ко всем членам конгресса с вопросом, — считают

ли они, что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе? Произошел горячий обмен мнений, в результате которого последовало категорическое постановление: *принимая во внимание особенности данного момента, редакция это право сохраняет*.

Точно ужаленный вскочил Плеханов с места, разразился страстной, едкой филиппикой против конгресса. Раз конгресс того мнения, — говорил Плеханов,—что «политическое убийство—это осуществление революции в настоящем» (из статьи «Листок З. и В.»), то это и надо сказать прямо, открыто, надо заявить об этом. А так как Плеханов продолжает стоять на старой народнической точке зрения, то он не считает возможным оставаться в организации. И он оставил конгресс. На другой день, во время заседания конгресса, Плеханов прислал собранию протест, составленный сжато и выразительно.

Плеханов, помнится, рекомендовал, между прочим, вниманию конгресса историю революционного движения в Австрии в 40-х годах. Особенно подчеркивает он то содействие, которое оказывали галицийские крестьяне австрийскому правительству в подавлении революционных стремлений городских элементов. Еще ранее при обсуждении вопроса о политическом терроре Плеханов обратился к террористам с вопросом:— «На что вы рассчитываете? Чего вы добиваетесь?» На что также последовал прямой ответ А-дра Михайлова:—«Мы получим конституцию, мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому».

Само собой, и отдельная записка-протест Плеханова не могла оказать действия. Я помню хорошо, какое угнетающее впечатление произвел на всех этот

открытый разрыв Плеханова со старыми товарищами, разрыв в такой критический момент как партийной, так и общей-русской жизни, разрыв с Обществом такого талантливого, энергичного, верного и стойкого соратника. Но тогда некогда было предаваться скорбным сожалениям — и работа конгресса продолжалась безостановочно [1]).

VI.

Плеханов и «Черный Передел». Отъезд его заграницу.

После окончательного раскола общества «Земля и Воля», Плеханов примкнул к фракции «Черного Передела». И пошли для Плеханова черные дни. Мы тогда почти не расставались, все были вместе—и днем, и ночью. Я видел, что Плеханов томится, хотя и виду не показывает. Его, очевидно, тяготило шаткое, непрочное положение «Черного Передела». Орган не мог поглотить всей творческой энергии Плеханова.

Писал он свои статьи, можно сказать, играючи— без всякого напряжения. А другой работы революционной не было. Большому же кораблю нужно ведь большое плавание.

Связи с рабочими у «Черного Передела» не было, не считая единичных, как, например, с Ст. Халтуриным и др. А Плеханов,—это было видно мне,—с каждым днем выростал, творческих сил в запасе уже было много в нем, в Плеханове. Он набросился на чтение.

---

1) Об этом см. мою книгу «Земля и Воля» 70 годов, стр. 192 и 193 *первого* издания и стр. 372 *второго* (1924 г. «Колоса»).

Тогда вышел наделавший шум московский статистический сборник. Плеханов использовал его и дал статью о нем в «Устои». Это—*первый* литературный опыт Плеханова в легальной печати. Затем появилась маленькая брошюрка на немецком языке Шеффле («Квинт-эссенция социализма»). Журнал обратился к Плеханову с предложением написать статью об этой брошюре. Плеханов тогда плохо еще владел немецким языком и обратился ко мне и к И. И. Каминер-Тищенко с просьбою, чтобы мы по очереди вслух переводили ему эту брошюру. Просто беда была с Плехановым. Бывало, остановишься на мгновение, чтобы подыскать соответственное слово или выражение, а он, Плеханов, насмешливо сверкая глазами, торопит роняя слова вроде следующих: «ладно, ладно знай переводи!» И тут же сам подыщет самое подходящее слово, точно заправский знаток немецкого языка. По смыслу он улавливал слово—и слово это вполне соответствовало тому, что искалось. «Begriff» (понятие) и «Wort» (слово) у него путем какой-то интуиции выплывали одновременно и сливались во-едино.

Вспоминаются невольно слова Гете: Wi die Begriffe fehlen da stellt ein Wort zu rechter Zeit sich ein [1]). У Плеханова этого *не было и не могло быть.* И здесь также сказывалась его творческая сила, его замечательная способность схватывать почти на лету корень вопроса, «ядро пуделя» (Pudel Kern) трактуемого вопроса. А это—способность несомненно творческой категории. Когда перевод вслух был окончен, Плеханов взялся за перо и тут же, на моих глазах,

[1]) Это значит: «где не хватает понятия—там на выручку появляется слово».

быстро написал статью и послал ее в журнал. Не помню теперь, как называлась эта статья, не помню, была ли она напечатана, так как вскоре пришлось расстаться совсем с Плехановым. А у меня были серьезные тревоги насчет Плеханова и других товарищей. Дело вот в чем. Наша конспиративная квартира была хорошо обставлена во всех отношениях: на Невском, три двора с проходом на Пески. Вечное в дворах движение. Хозяйка квартиры своя. Но вот что я случайно узнал. Как-то раз на улице встречаю Перовскую и Якимову («Баско»). Остановили меня, а Перовская ласково-строго ко мне обращается:

— За вами, Осип, следят по стопам, а вы витаете в эмпиреях. К вам многие ходят, следите за собою.

И она описала мне до мелочей приметы шпика и костюм его.

— Хорошо, Софья, хорошо, теперь буду в оба смотреть.

Распрощались. И действительно, пользуясь указаниями и советами Перовской, я вскоре набрел на моего шпика и стал его выслеживать. Шпик от меня, я за ним следую, довел его до кровавого пота. И он исчез с моего горизонта. Но не передал ли он меня другому? Опасность, стало быть, не прошла. Тревожили меня в особенности Плеханов, Стефанович и В. И. Засулич, которые каждый день бывали на моей квартире и засиживались подолгу. Долго ли до несчастья?..

Я больше всего боялся за Плеханова, ибо он ближе всех был ко мне. У меня зародилась мысль, которую я пока что держал при себе. Я решил на первом же очередном заседании нашего общества внести предложение о временном выезде заграницу Плеханова,

В. Ив. Засулич, «Ярослава» (Стефанович) и Дейча, как товарищей, которые каждый порознь и все вместе представляли весьма лакомый кусок для царского правительства. Ждал я только подходящего повода.

Как-то раз приходит ко мне «Жорж» (Плеханов) весьма удрученный.

— Что с тобою?

— Я бы хотел уехать на некоторое время в Киев, но хочу знать, как *ты* смотришь на это, какое *твое* мнение насчет этого (подчеркивает на словах «ты» и «твое»).

— Надо спросить товарищей.

— Повторяю, меня интересует *твое* мнение.

— Я буду радешенек, Жорж, если ты хотя бы на время удалился из этого Вавилона—Петербурга. О том, как меня выслеживал шпион, я тебе уже рассказывал, а на днях только что приходили к нам какие-то дурно пахнущие джентльмэны и спрашивали, не отдается ли в наем комната. По моему, уезжай в Киев, но дай мне слово, что будешь там паинька.

— За безопасность мою в Киеве ручается Роза Марковна (жена Плеханова. А.).

— Отлично! поезжай!.. А я доложу об этом товарищам...

Мы распрощались. Я на время успокоился. Но это была только полумера. Плеханов вернулся во-время, бодрый и веселый. Два дня спустя я завел с ним разговор, который во время его отсутствия я основательно обдумал.

— Я хочу с тобой поговорить о вопросе, который имею внести на ближайшее собрание. Слушай меня внимательно...

Плеханов насторожился.

— Я решил внести в экстренное собрание (которое собираю) предложение о том, чтобы ты, Ярослав, Вера и «Женька» (Л. Дейч) выехали на время заграницу.

Плеханов внимательно слушал и думал.

— Не хватает еще одного...

— Кого?—спросил я, недоумевая, о ком еще может идти речь.

— Тебя, Осип, не хватает!.. Я уеду лишь тогда, если ты со мной уедешь...

Продолжительная пауза. Я изложил Плеханову, что мне ехать никоим образом не следует, что смотрю на отъезд их всех заграницу, как на командировку. И только. Когда нужно будет, все обязаны будут вернуться.

После долгого спора Плеханов сдался-таки. И я впервые увидел, как в его холодных обычно глазах блеснуло нежное, любовное чувство ко мне. И сам-то я впервые почувствовал, как дорог мне этот насмешник «Жорж». Как нарочно, он побрился и стал прелестным юношей, почти мальчиком. Я любовался им. Он сделался совершенно неузнаваемым.

Но я торопился со своим предложением, словно чуял какое-то несчастье, надвигающееся на нас.

Мое предложение прошло на Совете единогласно. И Плеханов, и Вера, и Стефанович с Дейчем, один за другим, выехали. Опустел наш «Черный Передел». Я остался один и еще более, чем когда либо, остро почувствовал, как недостает мне «Жоржа», этой светлой головушки, этого холодного, но так бесконечно дорогого друга-товарища. Один — с расползающейся флотилией на руках... Но я был рад, ликовал—с плеч свалилась целая гора. Когда, когда опять увижу я тебя, светловушка? .

VII.

Первое свидание с Плехановым заграницей.

1888 год. Восемь лет прошло, как попрощался я с Плехановым в последний раз в Петербурге в один из зимних, окутанных желтым туманом дней. Тяжелые были для меня эти годы. Петропавловская крепость, пересыльные тюрьмы, этапы, Якутка... Потом первый мой выезд заграницу. Медицина, медицина, а между делом кое-какие знакомства среди рабочих Мюнхена.

Я много работал, много наблюдал, но чувствовал себя на распутьи. Старые боги умерли, или точнее—умирали, в агонии уже, а новые не явились на смену им. Одиночество и оторванность. Меня потянуло властно повидаться со старыми товарищами, с Аксельродом и Верою, а пуще всего—с «Жоржем». Заграницей я, между делом, познакомился с главными его работами по марксизму. Я ликовал. Другого слова я не могу найти, чтобы выразить то чувство, которое охватило меня тогда. Плеханов таки нашел себя. Я не был тогда еще марксистом, но что Плеханов стал твердо на этот путь—меня несказанно радовало. Я не ошибся в нем. Гете где-то говорит: «настоящий человек всегда найдет подлинную свою дорогу».

И Плеханов именно нашел *свою* дорогу. Хочу увидеть его. Какой он теперь? Что я увижу и услышу?..

В Мюнхене вступил с ним в переписку, получил несколько писем от него. Я тогда находился в ужасном состоянии по поводу отступничества Тихомирова.

То были одни из самых тяжелых минут в моей жизни. Отступил человек, на которого я недавно еще молился, отступил один из крупных борцов революции. Я взялся за перо и написал Плеханову. Тут же получился ответ—короткий и суровый. Я не удовлетворился, я был тяжело ранен. Отступники бывали во всяком движении, но кто отступал?—слабые, нерешительные, а тут «Тигрыч» (псевдоним Тихомирова), этот чуть ли не фанатик революции. Я ответил не письмом, а целым посланием—вылилось оно у меня из души моей... Не помню теперь содержания этого письма, но много лет спустя мне передавал один из близких товарищей Плеханова, что последний пришел от моего письма в восхищение, читал его товарищам, а также и группировавшейся вокруг него молодежи [1]). Право же ничего припомнить я не могу сейчас и недоумеваю, что так восхитило Плеханова, что он хотел даже напечатать это письмо, но как раз тогда средства его были очень скудны. Он мне ответил лаконически: «приезжай к нам, Осип, и мы потолкуем». Я ждал вакаций, оставить же работу нельзя было. А пока что я прочитал еще раз программу, составленную Группой Освобождения Труда, с объяснительным к ней предисловием (я говорю о программе, составленной в 1885 г.). Очень внимательно прочел, в особенности две брошюры Плеханова: «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». Эти две брошюры я считаю краеугольным камнем, положенным в основу

[1]) Товарищ этот—покойный Эфрон. Последний уверял меня тоже, что письмо мое было «замечательное». Положительно не могу припомнить его, письмо это... А.

русской марксистской литературы, твердой базой социал-демократической идеологии. Какая поистине большая работа была произведена, какой идейный переворот! И не только идейный, а и практический, и тактический. Этими двумя брошюрами Плеханов открыл выход из того тупика, в который русская революционная теория и практика уперлась после крушения народничества и «Народной Воли»,—выход на широкую европейскую дорогу во всеоружии опыта и критики марксизма. Не скажу, чтобы эта эволюция моих старых товарищей удивила меня. Это можно было предвидеть, и в этом предвидении тоже ничего особенного нет. Ведь в последнюю чернопередельческую фазу революционного народничества мы уже сделали решительный шаг в сторону *научного* социализма,—в особенности сам Плеханов. Так: в «Черном Переделе» было категорически заявлено редакцией, что «как группа «Черн. Перед.», так и орган ее стоят на почве положений *научного социализма*, которые должны служить для нас критерием при оценке различных сторон и форм народной жизни». Значит, *первый* шаг и шаг самый трудный—уже сделан: народнический, утопический социализм уже преодолен, а дальше логический переход к марксизму и социал-демократической программе уже вполне естественен. И Группа Освобождения Труда взяла социал-демократическую программу, приспособив ее к русской действительности. Я остался программой весьма доволен: ясно, сильно, убедительно, никакой декламации, ни следа революционной фразы. Люди выступали во всеоружии марксизма, в сознании огромной важности поставленной ими цели и выдвинутых ими очередных задач.

Овладев оружием марксизма и сбросив с себя ветхие одежды народничества, Группа Освобождения Труда с самого ее основания поставила перед собою совершенно ясно одну основную проблему: каким образом, в виду уже развивающегося капитализма, с одной стороны, наличности социалистической интеллигенции, с другой, и опираясь на оружие научного социализма—с третьей,—каким образом достигнуть того, чтобы еще до приобретения политической свободы рабочий класс представлял в России *самостоятельную* политическую силу, и чтобы он, рабочий класс, борясь, как это было на Западе, вместе с буржуазией за свободу, *не подпадал, по примеру своих европейских собратьев, под влияние* буржуазии. Эта основная задача стала с разных сторон разрабатываться дружно Группой Освобождения Труда. Большая это была работа и, на первых порах, крайне трудная. Тупик стоял на дороге,—тупик в форме общего угнетения настроения революционной молодежи, тупик, в виде целого вороха мусора идейного, завещанного нам предыдущим периодом (косность мысли, пережитки народнических идей, личные и междупартийные трения и проч. и проч.). Но Группа вышла с победой из этой тяжелой и утомительной распри. Марксизм и социал-демократия восторжествовали. Работа эта, по справедливости, колоссальная. И в этой работе, конечно, пальма первенства, по заслугам, принадлежит Плеханову.

Я советую молодым товарищам-марксистам познакомиться основательно с этой грандиозной работой, с этим идейным переворотом в революционной идеологии, чтобы, во первых, усвоить себе марксистскую идеологию, а, во вторых, понять в полной мере вели-

чие и значение этого идейного переворота,—*всей работы в общей совокупности* как Плеханова, так и ближайших его товарищей — П. Б. Аксельрода, В. И. Засулич, Л. Г. Дейча, Н. В. Игнатова, а впоследствии и более молодых сотрудников их. Заграницей я основательно все это штудировал; штудировал и одновременно радовался и скорбел душой. Радовался потому, что выпроводил Плеханова заграницу, где он развернулся в такой красоте и глубине творчества, скорбел потому, что при вспоминании о моей родине предо мною каждый раз неотвязно вставали наши блуждания по переулкам и закоулкам мысли, наши шатания, наши сумерки...

Непременно хочу увидеть моих товарищей, а особенно Плеханова, самого близкого мне.

И я списался сначала с П. Б. Аксельродом; получив от него ответ, выехал в Цюрих.

С П. Б. Аксельродом мы, конечно, встретились с распростертыми объятиями. После целого ряда перекрестных вопросов интимного характера, Аксельрод сел на любимого конька:

— Ну что, Осип, расскажи, что в России: ведь ты, так или иначе из России...

Не буду передавать все подробности нашего интересного и содержательного разговора. Передаю лишь заключение мое о состоянии тогдашней русской действительности. В России,—говорил я,—идет теперь решительная переборка всей жизни, экономическая перестройка ее. Этого только слепые не видят. Пока—что бросается в глаза, это масса строительного материала: камня, кирпича, железа и леса строящегося нового здания; за лесами, впрочем, вырисовываются и очертания будущего нового здания. Короче: пришел

уже капитализм, «пришла фаза», как говорит Гл. Успенский. И пришел не только «купон», пришел и устраивается капитализм высшей марки, вооруженный до зубов последним словом капиталистической техники. Не Разуваев и Дерунов, а подлинный капитал. Юг совсем переродился: там орудует подлинный западно-европейский капитализм — угле-промышленный, горно-промышленный и нефте-промышленный. И проч. и проч.

Вопрос уже идет не о «первоначальном накоплении капитала», как это было в наше время, в 70 годах, а о крупно-производственном. А с капиталом родилась на свет и его антитеза—рабочий класс. Пока только, говоря марксистским языком, он, наш рабочий, сознает себя лишь, как класс an sich, но не für sich. И это придет в свое время.

— Знаешь, — перебил меня Аксельрод,—твои личные наблюдения, Осип, подтверждаются со всех сторон; несомненно, строится новая Россия, и мы выступили как раз во время...

— Повидимому...

— Ах ты, Фома!..

— Фактов пока все-таки недостаточно еще, но невинность уже потеряна Россией. Лиха беда начать, а дальше она, наша Матушка-Россия, надо полагать, пойдет по большой дороженьке, по европейской... Надо думать, что так...

П. Б. Аксельрод тут же сообщил, что «Жорж» (Плеханов) готовит к печати критический очерк об Успенском. «Это сделает эпоху в нашей критической литературе. Он может быть поставлен, этот очерк, рядом с «Классовой борьбой во Франции» Маркса». Неподдельные, восторженные ноты слышались в сло-

вах П. Б.: «... Гениальное применение марксистского метода к литературной критике. Ничего подобного у нас не было. Вот поедем к «Жоржу», и он почитает ее. Мы только тебя с этим ждем...»

Как я был рад, услышав это от Павла Борисовича, как я был рад!.. И если Жорж и не Маркс, а только талантливый ученик Маркса, талантливый истолкователь его, то уже одного этого много, весьма много. Стать учеником Маркса, проводить его идеи, что он, Плеханов, начал уже так талантливо и глубоко,— это уж большая работа, большая заслуга. А, ведь, это только начало, а впереди целая еще жизнь. И жизнь красивая, на боевом пути. С этими мыслями я собрался в дорогу с Павлом Борисовичем.

В Женеве нас встретила В. И. Засулич. В Женеве В. Ив. осталась, а я и Аксельрод отправились по трамваю до м. Морнэ, где на горе жил в швейцарском шалэ (хижине) Плеханов. Когда мы подошли к хижине, в одном из ее окон промелькнула фигура Плеханова.

— Жорж увидел нас в окне и выходит навстречу,— проронил Аксельрод. И действительно: слышны были быстро спускавшиеся по лестнице шаги, и на пороге показался Плеханов. Я залюбовался им. Бледное, матовое лицо в рамке темнорусой, лопатой, бороды; высокий, точно выточенный из слоновой кости, белый лоб; запавшие, с нависшими уже бровями, холодные, сосредоточенно-вдумчивые глаза. Зажглись лишь радостными искорками, когда взглянул на меня при объятии. Вообще окреп, возмужал и нашел себя. Такое было первое впечатление.

— Ну, и бородища же у тебя, Жорж! — воскликнул я.

— Мы, друг любезный, российские люди, с бородами. Вот посмотрел бы ты на Тихомирова: у него борода, что у Черномора. Ну, пойдем в садик, потолкуем, а тем временем и Роза (Роза Марковна — жена Плеханова) вернется. Ну, Осип, дай-ка мне поглядеть на тебя... на немца совсем похож стал...

— Да уж и Вера Ивановна мне то же: немец, да немец. Среди немцев живу, с немцами учусь, ну и приходится, братец ты мой, к немцам приноравливаться...

Пошли в садик и сели на скамейку. Плеханов сразу за дело:

— Павел писал мне, что ты, Осип, одобряешь нашу программу, но не решаешься все-таки пристать к нам. В чем препятствие, друг любезный?

— В чем препятствие, Жорж?..

На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые.

Вот видишь: проклятые-то вопросы остались, ответа не получено. Программу принимаю, одобряю; одобряю и принимаю, в особенности теоретические к ней предпосылки; но в программе есть слабые места и, по моему, совсем не приемлемые. О чем следуют пункты: во-первых, слабы и не ярки политические требования, в частности—требования избирательного права не конкретизированы; во-вторых, требование выкупа земли – совершенно неприемлемо. Почему? Потому что выкуп земли в народе пользуется очень дурной славой: дорого этот выкуп стóит ему, народу. Нет, не суйтесь вы в народ с лозунгом о выкупе! Народ вас не станет слушать... «Чего ее укупать-то?.. Она так должна отойтить... Потому, чтó земля, чтó

вода, что́ нёбо—все божье... отойдет...» [1]). Это верно. Я это слышал много, много раз еще в 70-х годах. И если память мне не изменяет, я уже тебе об этом рассказывал когда-то. И теперь то же, но острее, болезненнее. С этим вашим лозунгом, друзья, в деревню не суйтесь. Но это еще с полгоря: сговоримся, поладим. Горе для меня подлинное вот где. Скажи: если я приемлю вашу социал-демократическую программу, но не приемлю марксизма, как доктрину, обосновывающую и санкционирующую эту программу, имею ли право считать себя, называть себя социал-демократом? Думаю, что нет. И вот оно, горе-то: марксизма не приемлю, ибо фатализма не признаю в историческом процессе, личность не считаю часовой стрелкой, пущенной в движение объективным ходом вещей, этику не свожу на нет и т. д., и т. д.

Распространяться на эту тему сейчас не желаю, а отвечаю лишь, почему я колеблюсь.

— Осип,— горячо возразил Плеханов:—ты, вижу, марксизма совсем не знаешь, а потому возводишь на него поклеп... да, поклеп!.. Ты познакомься с марксизмом, да не из вторых рук, а из первых источников, и ты увидишь, как безнадежно ты заблуждаешься; на все проклятые вопросы ты получишь ответ прямой... Конечно, ты прав: нельзя быть социал-демократом, не принявши марксизма в целом: его экономический, исторический и философский материализм...

— Может быть, ты и прав, Жорж!.. Надо мне поучиться. Ведь вот, ты и Павел стали марксистами лишь после того, как основательно ознакомились с

---

1) Взято у Гл. Успенского. *А.*

ним... Ты, вот, Жорж, и Гегеля штудируешь, стало быть, и он нужен. Стало быть, надо и мне прежде все это обмозговать—и тогда посмотрим...

— Отчего ты Мюнхен выбрал? Ты бы к нам переехал; здесь кончил бы курс медицины и изучал бы марксизм. Скорей бы к нам пристал и помогал бы в нашей работе...

— Чем бы я помогал вам, Жорж?

— Как чем? пропагандировал бы среди здешней молодежи марксизм, писал бы,—ты можешь писать, но все отлыниваешь, ты по этой части лентяй, знаю я тебя! Дисциплины не признаешь...

Вот наш «Дворник» научил бы тебя дисциплине воли... К рукам надо тебя прибрать—по военному! [1]).

— Кого ты, Жорж, к рукам прибираешь?—раздался энергичный голос Розы Марковны Плехановой.

— Вот кого!.. посмотри-ка на него, Розочка, настоящий немец!.. Все говорит: социал-демократическую программу приемлю, а марксизма нет... Ну, вот, толкуй больной с подлекарем!..

Мы все, смеясь, направились в дом. Обед прошел оживленно. Г. В. Плеханов был в ударе, а когда он в ударе, он обворожителен: неистощим в юморе и ярких характеристиках. Я остался у него ночевать, а П. Б. обещался придти на другой день, чтобы вместе выслушать статью Плеханова об Успенском. После обеда Плеханов минут с двадцать полежал, а потом,

---

[1]) «Дворник»—Александр Дмитриевич Михайлов, один из самых видных членов «З. и В.», а потом и «Народной Воли», погиб в Шлиссельбургской крепости. См. мою книгу «Земля и Воля» 70-х годов и «Записки семидесятника» в «Современ. Мире», май, 1913 г. «Дисциплина воли»—излюбленный термин Михайлова («Дворника»). *А.*

блеснув на меня своими насмешливо-ласковыми глазами, ушел в кабинет. Из него выработался тогда подлинный заграничный работник. Работал много, интенсивно и производительно, не тратя сам своих сил непродуктивно и отнюдь не позволяя этого и другим, кто бы они ни были. Отработает установленное время, потом прогулки на вольном воздухе. Этот режим он строго соблюдал всегда, пока я его знал заграницей. Не выносил он распущенности и разгильдяйства ни в чем: «дисциплина должна быть, дисциплина во всем, тогда даже человек с заурядными способностями много сделает», — говорил он постоянно. И он доказал это даже в день моего приезда, после стольких лет разлуки: оставил меня с Розой Марковной, а сам уединился.

К вечеру собралась молодежь, человек 10—15. Пришла и Вера Ивановна.

Как водится, поднялись споры. Спорили о диалектическом методе, об *экономическом* и историческом материализме, о субъективной философии, о народничестве, критиковали последнее с оружием марксизма в головах. Совсем новые для меня темы, новые слова, новые понятия. И это нужно было все, это важно было. И как убеждены, как увлечены эти люди! Знают, чего хотят, чувствуют почву под ногами, уверены в окончательной победе. Как в мое время—«народ», так теперь в центре их действий и достижений—*пролетариат, рабочий фабрик и заводов.* In hoc vicis! (Сим победиши!). И отправятся эти молодые люди на родину и будут они призывать к *новой* работе во имя *новых* идеалов, не утопических, а положительных, оправдываемых объективным ходом вещей и данными научного социализма. Сначала я был

только слушателем, а потом вовлекся в спор и из обороны перешел в нападение. Один против всех. Диалектика—не всемирный естественно-исторический закон, а лишь частный случай мировой эволюции, и не Маркс его открыл. Экономический и исторический материализм бессильны объяснить всю совокупность общественного процесса, весь сложный переплет общественных отношений, все богатство красок жизни, со всеми «надстройками» и проч. В материалистическом понимании истории слишком много фатализма, личность сведена на нет, а этим самым — упраздняется этика: суд над историей, над личностью и т. д., и т. д. Так я возражал, так я аргументировал тогда.

Много лет прошло с того времени, и теперь, когда вспоминаю мои возражения, я краснею: сколько плоского, шаблонного, ходячего было в них...

Раздался неожиданно крик:

— Георгий Валентинович! Георгий Валентинович!. идите скорее сюда, нападают на Маркса...

Вошел Плеханов. Окинул всех острым взглядом и вмешался в спор. Склонившиеся было в мою сторону весы спора быстро опустились. Плеханов заговорил горячо, не полемизируя, разбивал он безжалостно одно за другим мои положения... Тут было все: глубина мысли, критика, стройная логическая последовательность и обширный фактический материал из истории мысли и истории революционных движений. Он и меня победил, хотя я и не поддавался. Какими жалкими казались сторонники народнической идеологии!.. Плеханов — не только трибун, но мыслитель, философ, не только партийный человек, но и ученый в европейском смысле слова. Меня держали тогда еще крепко обломки утопического социализма-народ-

ничества, Плеханов же выступил, как воин, забронированный марксизмом, хотя заимствованным им у великих своих учителей, Маркса и Энгельса, но переработанным им собственным его творчеством и усвоенным собственной его критической мыслью, как нечто совершенно самостоятельное, цельное и гармоническое. На все вопросы он давал ответы, не запутывался в мелочах; вопросы экономики, политики и морали выступали в их зависимости и связи, как интегральная часть *философского* материализма. Личность нашла свое оправдание, свой raison d'être в историческом процессе, но без идеалистического покрывала: *реально, истинно* и *правдиво.*

Я был побежден, но в душе был рад этой победе Плеханова: мое поражение на самом деле было не поражением, а победой—оно сдвинуло меня с мертвой точки. Это я *больше чувствовал*, чем ясно сознавал...

На другой день пришел П. Б. Аксельрод, и, как условились накануне, отправились втроем в садик прослушать статью Плеханова о Гл. Вас. Успенском. Прекрасная статья, хотя я тогда не мог бы сказать П. Б., что она, статья эта, «составляет такую же эпоху», как, напр., «Классовая борьба во Франции» Маркса. Но тогда я иначе и смотреть не мог: я еще не был сознательным марксистом. Но, — замечу мимоходом, — много лет спустя, в 1906 году, когда я снова очутился заграницей и снова прочитал эту статью Плеханова, я должен был признать, что если бы Маркс сам прочитал ее, эту статью, он признал бы ее, как chef d'euvre марксисткой критики в применении к литературе (беллетристике).

Когда чтение окончилось, зашла опять речь о марксизме. Плеханов говорил для меня — в душе я

благословил его. И теперь, когда вспоминаю об этом, я говорю: ты победил меня, галилеянин!.. Ты поставил меня на настоящий путь!.. Впечатление, произведенное на меня этой последней речью Плеханова, было так неотразимо, что Плеханов и Аксельрод переглянулись. Взгляд их ясно говорил: «Осип—идеалист, но будет время, и он придет к нам».

По окончании чтения мы распрощались.

VIII.

Второе свидание с Плехановым. Плеханов-семьянин. Плеханов—идейный лидер русской социал-демократической рабочей партии.

1906 год. Последовавшая за революционным взрывом 1905 года свирепая царская реакция изгнала меня, как и многих моих соотечественников, из России. Я очутился опять заграницей, а именно в Швейцарии. Плеханов жил тогда постоянно в Женеве. Я и решил поселиться там, чтобы быть поближе к моему старому товарищу. 18 лет мы не виделись. Шутка ли? Плеханов за это время выдвинулся уже, как общепризнанный идейный лидер русской социал-демократической рабочей партии, как энергичный член всех международных социалистических конгрессов, как, если не ошибаюсь, несменяемый член Международного Социалистического Бюро, по поручению которого им, Плехановым, написана его известная брошюра «Анархизм», на немецком, французском и прочих европейских языках; как, на-

конец, глубокий знаток марксизма. Плеханов—европейская известность. Он близко стоял к Энгельсу, Бебелю, Зингеру и др. вождям немецкой, французской и итальянской интернациональной социал-демократии. Его знал и буржуазный западно-европейский мир. С ним считались. Буржуазия Швейцарии не
1906 дерзала теперь изгонять Плеханова из пределов демократической своей республики, как беззастенчиво практиковала она это, — под давлением, впрочем, русского правительства,—во время оно—в 80-х годах.

Плеханов теперь приобрел, благодаря своему выдающемуся положению в Интернационале, несокрушимое habeas corpus. Он живет постоянно в Швейцарии, уезжая лишь на зиму в Италию, по тяжелой своей болезни. Но ни болезнь, ни упорная ученая и литературная работа ни на минуту не отрывают его от его поста—*он на страже интересов международного пролетариата*, его *теории и практики.* Он неутомим, этот Плеханов. Он борется на два фронта: заграницей с ревизионизмом, берштейнианством, в России – с народничеством, с русским экономизмом и русскими ревизионистами разного толка и окраски, и беспощадно поражает своих противников. Его оружие—глубокое знание марксистской философии, в связи с знанием движения рабочего класса на Западе, и его полемическое жало, которым он владеет в совершенстве. Это страшное оружие, которым он уничтожает своего противника. Две-три предпосылки философского или вообще обобщающего характера — и стройное, гармоническое, сжатое и сильное построение готово. Постановка вопросов всегда выпуклая, решение их—кристаллически ясное.

Ни декламации, ни фразы—глубокое, проникновенное изложение, сильный стиль. Полемическое же жало его было лишь той солью, которая придавала особую остроту и едкость его мысли, которое чувствительно жалило мещанскую и всякую прочую ограниченную половинчатость. К Плеханову более, чем к кому-либо, применимы слова поэта: «Ich bin ein Mench geheissen, und das heisst ein Kämper sein» («Я был человеком, а это значит—быть борцом»). Таким именно уже был Плеханов к началу 20-го века. В России его имя было известно не только в партийных кругах, но и в широкой интеллигентской среде. Появление еще в 1895 г. его книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» составило поистине «эпоху» в тогдашней легальной русской соц.-политической литературе.

Профессора и ученые, как, напр., проф. Бунге, удивлялись этой книге, считали ее выдающимся явлением в нашей публицистике, спрашивали все, кто же этот до сих пор никому неведомый публицист, этот загадочный Бельтов? Успех этой книги в России был колоссальный. Я хорошо помню это время,—все это у меня на глазах происходило, все мы, и молодые и старые, зачитывались ею, этой книгой. Старые «учителя жизни», как Михайловский, напр., сразу как-то завяли и были отодвинуты на задний план. И даже страстная полемика Плеханова с Михайловским, в конце концов, только послужила к вящей славе Плеханова. Умерли старые боги, родились и действуют новые. Те, кто жил в это время, скажут, что *новое* слово все глубже и глубже захватывало, все шире и шире распространялось. Марксизм уже имеет своих адептов не только среди молодежи, мирной и воин-

ствующей, но и среди представителей кафедры и серьезной печати. И еще, что важнее: уже широкие массы рабочего класса вовлечены в круг революционно-марксистской и социал-демократической пропаганды и агитации. Народилась уже Р.С.Д.Р.П. (Русская соц.-дем. раб. партия).

И все это было связано с именем Плеханова. Его уже нельзя было замолчать: его цитируют с кафедры, его цитируют историки и историки литературы. Я с душевным трепетом следил за успехами этого «Орла», как рабочие называли его еще в 70-х годах, я радовался этим успехам и глубоко огорчался, когда его не понимали.

А теперь, в 1906 году, я опять с ним. Передо мною уже пожилой человек, широкоплечий, с проседью на висках, с лысинкой на голове; глубокие, темные, холодные, как сталь, глаза, насупленные брови, чуть-чуть хриплый голос (голос ораторов, а тут еще и болезнь—туберкулез), тщательно подстриженная клинушком à la Boulanger бородка, всегда изящно одетый — вот каким предстал предо мною Плеханов, 18 лет спустя после первого нашего свидания, в 1906 году.

Вечер. Мы за чаем. Плеханов, его жена и две дочери—Лидия и Женя. Старшая по красоте—мадонна,—так я ее назвал; младшая — фея—в отца. Я впился глазами в лицо Плеханова, не могу оторваться.

— Так вот какой ты!—вырывается у меня невольное восклицание...

— Какой, Осип?—и ласковые искорки сыпятся на меня.

— Quelque chose de grande politique... (Печать политического величия—в вольном переводе).

Плеханов улыбнулся. Первый вечер нашего свидания прошел в прелестной causerie, как говорят французы. Плеханов был обворожителен. Меня сразу охватило чувство семейного уюта и счастья,—не мещанского, о, нет, а разумного, идейного, чистого. Семья обожала его: жена и дети преклонялись перед ними, вместе с тем были равны ему, как друзья-товарищи. Нежная любовь и заботливость и глубокая идейная симпатия. Его авторитет, его величие не чувствовались. То была дружная семья товарищей-единомышленников, сдерживаемая, однако, внутренней дисциплиной, крепкой духовной связью, где нет места мелочам, серым будничным интересам, где невидимо царствует духовная сила. Каждый день я бывал у Плеханова, недели, месяцы и годы, а эта дружественная семья товарищей всегда оставалась неизменно твердо спаянной. Никогда не слыхал я, чтобы Плеханов подымал голос в семье, чтобы он кому-либо приказывал, а все делалось именно как он хотел—не в силу каприза, а в силу нравственной дисциплины, выдержки и высоко-морального императива. Он, которого я много раз видел чуть ли не в состоянии гневного аффекта, с сверкающими глазами и порывистым, по военному, закручиванием усов,—он в семье был ровен, мягок, а порою и нежен. Как он шутил! Какая, бывало, свалка подымалась у него с дочерьми из-за его злых насмешек!.. Я как-то раз назвал Лидию Георгиевну мадонной.

— Ну, да, мадонна времен упадка,—проронил Плеханов насмешливо.

Какой переполох поднялся!.. Лидия Георгиевна напала на него, Евгения Георгиевна явилась к ней на помощь—и давай мять, тормошить бедного отца, ко-

торый едва отбился от них. Мать спокойно созерцала все это, а я был на стороне дочерей.

И много раз это бывало на моих глазах—по тому или другому поводу. Но когда нужно было, например во время его занятий по литературе с Евг. Георг. (она была на факультете belles lettres, что-то в роде историко-филологического факультета), тогда он был строг и требователен.

Раз только я был свидетелем суровой выходки Плеханова. Лидии Георгиевне запретили, по болезни ее, курить, а я соблазнил ее хорошей папиросой. Плеханов совершенно спокойно попросил ее не курить. Но Лид. Георг. замешкалась; тогда он решительно к ней подошел, ни слова не говоря, вырвал из рук смущенной этой неожиданностью девушки папиросу и вышвырнул ее через окно.

— Папочка! — только воскликнула растерявшаяся и обидевшаяся девушка.

— Лида, ведь ты знаешь, что тебе вредно курить, держи себя в руках!..

Но когда нужен совет, поддержка, Плеханов — не отец, а друг, товарищ. Никаких внешних стеснений, а лишь добровольная дисциплина духа, нравственные требования высшего порядка.

Но за то как берегли все своего «Жоржа»!.. Малейшее его желание само собою исполнялось, необходимая тишина и удобство сами собой, автоматически, устанавливались, порядок во всем, никаких лишних трат и тревог на мелочи жизни, на серые повседневные, отвлекающие от серьезного, заботы...

Такова семья Плеханова. Евгения Георгиевна владела чудным голосом (она брала уроки пения специально), а Лидия Георгиевна, обладая какой-то раз

носторонней художественностью, тяготела в особенности к театральному искусству. Глубокий знаток и ценитель искусства, Плеханов, очевидно, передал дочерям своим свои художественные наклонности, свои художественные Anlage. Мне хорошо было в этой семье, где я отдыхал от работы и душевно и духовно. Хорошо было, очень хорошо.

IX.

Наши беседы. Журнал «Современная жизнь». Мое сотрудничество по настоянию Плеханова. Мои воспоминания о «Земле и Воле». Точки расхождения по поводу оценки влияния Михайловского в 70-х годах.

На другой день после моего приезда—продолжительный разговор с Плехановым. Тема разговора — жгучий вопрос о протекшей только что революции, оценка ее и текущего момента. Плеханов вникал во все подробности, спрашивал и спрашивал, словно желая проверить самого себя, но больше всего это имело характер экзамена старого товарища старому же товарищу: стоял ли этот товарищ на высоте задачи, что исповедует и какой тактики держится он. Amicus Plato, sed magis amica veritas (Друг Платон, но выше дружбы истина),—говорили его холодные глаза. И пришлось исповедываться. Иначе я не могу назвать тот наш разговор. Я рассказал ему все, что происходило у меня на глазах в Вильне и уезде, в чем

принимал участие, в какой форме. Не скрыл я от него, что стоял за бойкот выборов в Гос. Думу, призывал также к вооруженному восстанию. При последних словах лицо его потемнело. Я рассказал ему также о том, что параллельно с деятельной агитацией, происходившей в блоке п.п. с-цами, бундистами и местной социалдемократической группой большевиков и меньшевиков, велась еще живая пропаганда научного социализма, при непосредственном моем участии. Сорганизованы были социалдемократические кружки и клуб рабочих при больнице. В окрестном же крестьянском населении велась деятельная агитация за смену всех раньше поставленных волостных и сельских властей. Кроме того, во время начавшегося набора, велась деятельная агитация в пользу отказа от военной службы, что отчасти и фактически удалось: около 50-ти человек призывных уклонились совсем от службы.

— Ну, а к какому же выводу ты пришел?

— Это не революция, а только выкидыш...

— Что?.

— Выкидыш, говорю. В терминах марксизма это вот что значит: соотношение борющихся сил, политическое и классовое сознание масс было таково, что свержение старой власти, — а это именно и есть революция, ее необходимый последний акт, — свержение,—говорю я,—правительства и закрепление за сим завоеваний революции не могло быть достигнуто. А потому я считаю революцию 1905—6 годов выкидышем, говоря медицинским термином.

— А если не медицинским? оставим медицину!..

— Тогда назову нашу революцию лишь *прелюдией:* настоящая же (ударяю на слове «настоящая») рево-

люция в ближайшем будущем, только. Трудно только начало, а *первый* урок революционной грамоты уже сделан—и даром не прошел...

— Я согласен с твоим выводом, О. В!.. Но есть один неясный для меня пункт...

— А именно?..

— Ты—большевик?..

— Нет...

Как же выступал ты с большевистскими лозунгами?..

— Я, видишь-ли, был того убеждения что Государственная Дума, при наличности царского режима, фатально осуждена на бессилие: ничего она народу не даст, никакой подлинной политической свободы не осуществит. Отсюда: отрицательное отношение мое к Думе—полное мое сочувствие лозунгу бойкота ее и, как логическое развитие этого бойкота,—лозунг *восстания*, последовательно и настойчиво проведенного...

Только такое восстание, думал я, сокрушит царскую власть и заставит ее убраться по добру, по здорову... Таково было мое убеждение.

— Ну, а теперь?..

— Теперь временная передышка, перебой... накопятся силы—и революция, говорю, придет...

— Что же ты, Осип, открыто не пристанешь к партии?

— Я бы еще в Вильне пристал, но помешал провал нашей группы и арест мой.

— Так ты не большевик?..

— Да нет же! Пристану к меньшевикам, особенно теперь, когда нужно подводить итоги, учитывать все, что сделано,—точнее: *не* сделано еще.. Пока только говорили, говорили и говорили...

— Ты умаляешь значение слова: люди долго молчали, и естественно, когда представилась возможность открыто говорить, их уста разверзлись... и библейская ослица Валаамова заговорила, когда пришла ее пора..

— Это и я признаю... не говорить нельзя было... но уж слишком злоупотребляли этим...

На этом наша первая беседа остановилась. Прошло еще несколько дней. Я сидел в кабинете Плеханова и читал его «Дневник социалдемократа». Он собрал все №№, так как я сказал ему, что многих номеров совсем не читал.

— Надолго ли ты думаешь остаться заграницей?..

— Это зависит от обстоятельств. Правительство решительно повернуло на путь свирепой реакции. У меня же еще за плечами судебное дело, и я дал подписку, что вернусь к судебному разбирательству. Но дело не в суде, а как пойдут вообще дела в России. Как видишь, из России толпами бегут растерянные, сконфуженные... Это обиднее всего... Ну, разбили нас, но разве это конфуз?.. Мне обидно и больно смотреть на них, Жорж!.. Словно озорники: накуролесили и конфузятся... Все спрашивают: «как это вышло?.. теперь что же мы видим?..» Поверишь, Жорж, даже тоска берет смотреть на них...

— Что же ты думаешь пока делать?..

— Во-первых, перечитаю основательно тебя, много еще нечитано. А во-вторых, буду писать мои воспоминания о «Земле и Воле»... Богучарский настоятельно просит их для «Былого»... Будет заработок...

— Это дело. Так завтра же садись за работу... Не откладывай! Завтра чтобы ты уже за работой сидел... А потом будет и здесь для тебя работа,

только, знай, не ленись... По части писания ты— лодырь... Знаю я тебя...

Я начал писать свою «Землю и Волю». Но прежде чем начать писать, я обратился к Г. В. Плеханову с просьбой написать небольшое предисловие.

— Зачем это тебе, Осип? Кому другому — я не прочь, но ты в этом совершенно не нуждаешься. Твое имя достаточно известно в революционной среде...

— Пожалуй, ты прав... Предисловие твое сыграло бы роль рекламы. Не надо...

Я сел вплотную за работу. Написал большое введение и дал на прочтение Плеханову. Содержанием остался доволен, но посоветовал сжать и сократить. Когда я написал уже 3 главы и собрался отослать их Богучарскому, Плеханов вдруг потребовал, чтобы я эти главы, а равно и следующие, печатал предварительно в его журнале «Современная Жизнь». Когда же я указал ему на то, что статьи эти уже обещаны Богучарскому, Плеханов резко возразил:

— Пустое это, что обещал!.. Живешь заграницей... Когда еще спишешься, когда еще Богучарский напечатает... Давай их сюда!.. Так первоначально и попала моя «Земля и Воля» *(без введения)* в плехановский журнал. О введении было не мало споров... Плеханов никак не соглашался с моей характеристикой Михайловского, с оценкой того влияния, которое Михайловский имел на молодежь в свое время. Я стоял на своем, указывая ему на то, что, как *мемуарист*, я должен передавать *то, что было*, а не теперешний мой взгляд на Михайловского. Значение же Михайловского и «Отеч. Записок» было громадно в свое время, и этого отрицать нельзя. Вот

из-за этого мое введение и не попало совсем в «Современную Жизнь».

Я поселился в Женеве рядом с Плехановым, на Rue de Candolle. Как-то раз рано утром вбегает ко мне Ольга (прислуга Плеханова) и просит «сейчас» пойти к Георгию Валентиновичу: он зовет меня к себе.

В чем дело? Пошел. Оказывается, Плеханову нужна рецензия на две статьи в «Былом». Он предлагает мне *сейчас* же написать к завтрашнему дню, чтобы поспела на почту...

— Жорж, помилосердствуй!.. Ведь я—не ты: какой же я писатель!?..

— Нечего отлынивать!.. Иди и пиши!.. Мне сейчас работать нужно...

— Напишу скверно, Жорж!..

— Напишешь хорошо... Иди...

Я ушел в серьезной тревоге. Чорт бы его побрал, этого моего «дядьку»!..

Пришел домой. волнуюсь. Жена улыбается. Она в восхищении от Георгия Валентиновича. Поволновался, поволновался и засел-таки за писание.

Весь день и всю ночь поработал, только на заре лег спать. Статью написал, принес Плеханову и, молча, подал ему. Сердит я был. Плеханов—поблескивал на меня глазами.

— Ну, вот же написал! дисциплина нужна, мой дорогой!..

Вечером, когда я к нему зашел, он отозвался о статье хорошо и кое-какие редакторские поправки сделал. Проходит еще с неделю или больше. Опять шлет гонца: «приходи сейчас!» Пришел, смотрю на него вопрошающе. Улыбается глазами. Затевает опять что-то...

— Нужна статья, Осип, через два дня чтобы была готова!..

Написал и эту статью к сроку. Так он меня за волосы тащил в литературу. Никаких препирательств: «знай,—пиши»... Я ему как-то раз указал на несносный его деспотизм.

— Чудак ты, О. В.! ведь для твоей же это пользы! втянешься и будешь писателем...

— Писатели родятся, Жорж!..

— Что за вздор!.. Надо работать и работать, тогда и уменье, и навык, и талант, наконец, явятся...

Я с сомнением покачал головой.

— Напрасно ты, напрасно!.. Если бы ты тогда, когда ты выпроводил меня заграницу, послушался меня и уехал бы со мною, из тебя, пожалуй, выработался бы Белинский...

— Побойся бога, Жорж!.. что сказал—Белинский!?.

— Ты не знаешь Белинского, а потому так говоришь... Белинский выработался неимоверными усилиями... Это не верно, что писательство—дар... Конечно, поскольку чувствуется *непреодолимое* влечение к творчеству, постольку оно—дар, но только *постольку*... Ты думаешь мне легко далась литература,—нет же, милый друг!.. Я работал много, много работаю и теперь и посейчас не отдыхаю на лаврах... Так-то, О. В., читай, работай, голова на плечах у тебя есть!.. Работай, работай—и обретешь писательский талант... Запомни это хорошенько!.. даром и гению ничего не дается...

В первое мгновенье меня даже покоробило от этих слов. Посмотрел на Плеханова—серьезное, почти суровое лицо, ни тени иронии, хотя бы и бессознательной... А Плеханов—не человек фразы, чужды ему в

особенности всякие сантименты и приторно-сладкие речи... Как это сорвалось с его уст? Он уловил во мне какие-то литературные задатки, склонность к литературе—и его охватывает страстное желание не дать им, этим задаткам, заглохнуть во мне, развернуть их *для пользы дела и личного моего блага*... Сказался подлинный литератор и eo ipso—ловец начинающих и «подающих надежду» писателей... Так, по-видимому, думал Плеханов. Не иначе. А тут еще и личные симпатии, которые, само собою, и у Плеханова были,—личные симпатии ко мне в особенности... Когда я порою вспоминаю о прошлом, я с особенно хорошим чувством переживаю эту беседу Плеханова со мною. Пусть он хватил через край, но оно так хорошо, убежденно и искренне вылились у него, что каждый раз, когда вспоминаю о нем, о Плеханове, я прихожу в умиление.

Вообще Плеханов зорко присматривался к окружающим его молодым и немолодым товарищам, и если улавливал в них какой-нибудь талант (писательский или ораторский), он уже не упускал таких товарищей из виду и вырабатывал их соответственным образом. Так, к слову сказать, выработались и нашли свою писательскую дорогу товарищи *Деборин* и сестры *Аксельрод*. Философский марксизм, благодаря влиянию Плеханова, привлекал к себе все более и более новых адептов из еще непочатых широких кругов марксистской молодежи. Кто не может писать, тот выступает с лекциями, докладами, рефератами по этому вопросу. Зимы 1906—1910 годов заполнены, можно сказать, такими вопросами. Плеханов чутко ко всему прислушивается и, когда это необходимо, самолично выступает,—чтобы закрепить, утвердить марксистскую

философию («философский марксизм») своим авторитетом.

Каждый день видаюсь с Плехановым. Это само собою выходит. Он притягивает меня к себе, как магнит железо. Да и сам Плеханов по отношению ко мне держится совсем иначе: другие товарищи, как общее правило, являются к нему по докладу, в определенные часы дня (или вечера), я же прямо вхожу в его кабинет в любое время, сажусь на излюбленное мною место и занимаюсь. Порою он дает мне на прочтение только что написанное им. Я нередко делаю то или другое замечание, вношу ту или другую поправку. Плеханов внимательно меня выслушивает—и тут же порывистым, характерным почерком своим исправляет, согласно моему указанию, порою даже буквально. В особенности это случалось с полемическими его выпадами. Непременно либо совсем выпустит, либо значительно смягчит, притупит острие своей полемики. И мне в награду доставалась лишь насмешливая стрела его глаз. Кому он это позволит? Кто бы осмелился сделать ему замечание?.. Сейчас передо мною его гордо поднятая голова, его сверкающие холодным блеском глаза, его закручивание по военному усов: «меня исправлять?!. меня учить»?!. А вот меня всегда спокойно, вдумчиво, поблескивая, впрочем, глазами, выслушивает и слушает. Я его очень полюбил за это, моего неистового Плеханова. И как не любить его? Большой он, большущий человек, мой «Жорж»!..

Любил я просто сидеть в его кабинете, в этом подлинном убежище мыслителя.

Масса книг разнообразного содержания: по философии, биологии, социологии, истории искусства и

религии—на многих языках. Уйма всяческих брошюр. Ни одна новинка не минует его книгохранилища. И подбор книг был тщательный: все—строго научные. Помимо его самостоятельной научно-философской критики в выборе книг, много ему помогали разные библиографические Revues на немецком, французском, английском и итальянском языках. И таким образом ничего легковесного, не выдержанного в научно-философском смысле не попадало в его библиотеку. Немудрено, повторяю, что мне так приятно было сидеть в этой библиотеке, этом подлинном храме мысли, знания, науки.

На стене, по левой стороне при входе—чудная гравюра «Моисея-египтянина», копия со статуи Микеля Анджело. Я нередко засматривался на эту грандиозную фигуру. Плеханов заметил это и спросил как-то:

— Зачем это у Моисея рожки?

Я думал также: зачем это рожки? И вдруг меня осенила мысль:

— Да ведь, это, Жорж, символ сияния, излучающегося из его головы...

— Верно!.. Верно!.. Умница ты бываешь порою, Осип!..

— Только *«порою»*? — спросил я с некоторой грустью.

— Ничего не поделаешь «друг Гораций»!.. Надо и этому научиться...

Все то же,—подумал я,—муштрует... тренирует он меня...

Так, бывало, я просиживал в его кабинете целые дни.

Но вот, по мере того, как перезнакомился с нашей эмиграцией, я стал замечать, что что-то неладное

творится вокруг моего отшельника, Плеханова... какая-то тяжелая атмосфера отчуждения, даже неприязни со стороны разных слоев тамошней эмиграции. Ну, анархистов не беру в счет — они отъявленные враги его, ненавидят его за его брошюру об анархизме, ненавидят бессильной, но упорной ненавистью и злобой. Но большевики, и те злобно смотрят на Плеханова, а меньшевики тоже трудно скрывают свою неприязнь... Это особенно сказывается при выступлениях самого Плеханова с «конферансами» (рефератами, лекциями и проч.). В чем дело? И дальше. Сам Плеханов это чувствует: он уже не выходит один на прогулку, а непременно со мною... Я замечаю вокруг себя скверненькие улыбки... улыбаются и меньшевики: «дежурный адъютант»-де при Плеханове, его стража... Что сей сон означает? И вот Роза Марковна невольно открыла мне глаза. Как-то раз она обращается ко мне неожиданно с вопросом:

— Как вы, О. В., смотрите на то, что Жорж не поехал в Россию во время революции?..

— Прекрасно сделал,—отвечаю я категорически — это еще не революция была, а только прелюдия ее... Жоржа ждет еще большая работа... его слово и дело еще впереди... а погибать преждевременно—не его доля...

По лицу ее я видел, как она рада была этому. Думаю, что она передала мои слова Плеханову, ибо в наших отношениях появились какие-то еще более мягкие тона. Но у меня самого — глаза открылись: так вот где собака зарыта!?. Они, эмигранты, т. е., не могут простить Плеханову, что во время революций он оставался заграницей, «вне сферы досягаемости»... Все теперь для меня ясно—и это от-

чуждение, и это недоверие и неприязнь... Я был на страже. Как-то раз ко мне приходит какой-то анархист. (Ко мне *многие* ходили). Расположился развязно и давай расспрашивать весьма подробно о Плеханове (а Плеханов в это время был в горах). Я занимался и не обращал внимания на слишком уж любопытные расспросы моего незваного гостя. Вдруг жена подымается и, дрожа от негодования, обращается к анархисту, указывая ему на дверь:

— Уходите... нам таких не надо... уходите прочь!.. Анархист поднялся и улетучился через дверь.

— В чем дело, Евгения?

— А в том дело, что живи на земле, а не на небесах... Это—шпион и выслеживает Георгия Велентиновича... Он—шпион, шпион... этот анархист!..

Возможно!—подумал я. А Плеханов далеко от меня. Я в тревоге...

Несколько дней спустя ко мне прибегает встревоженный меньшевик, дельный малый, мой приятель,—Богомолец, и сообщает мне, что Плеханова убили... Что делать? как узнать?.. Бегу к телефону на квартиру Плеханова, вызываю Розу Марковну, уехавшую на-днях только к нему в горы. Жду с душевным трепетом: как спросить? если это—только утка, то ее только встревожит это, а Плеханова надо щадить... Заговорил в телефон—голос Жоржа... Камень упал с души...

— Что ты, Осип?.. что случилось?..

— Спрашивает пациентка Розу, когда она вернется... очень нужно... ответил я, захлебываясь, точно по наитию: рад был моей выдумке.

— Подожди, я пошлю к тебе Розочку...

Она вышла, и я передал ей этот ужасный слух.

— Во всяком случае, Жоржу не надо об этом знать. . Сегодня выезжаю и дома поговорим, О. В!..

Она действительно приехала, и мы решили, что на 2—3 дня поеду я к нему. Плеханов несказанно обрадовался этому сюрпризу и за это порядочно измучил меня: тренировал меня уже не идейно, а чисто физически—таскал меня по горам и крутизнам... Сначала я был в восхищении, а потом напала полная прострация... горы не давали мне ни на час уснуть... давили меня... мучили... Я пожаловался Плеханову, а он:

— Это, Осип, Alpendrück называется... привыкнешь... А он спит, как зарезанный — и горя ему мало... Три дня провел я у него; в конечном результате— все-таки великолепно... Этот горный воздух, это небо, синее и холодное, эти глетчеры, пропасти... Чудо—прелесть...

Как и всегда, Плеханов был за работой. Неутомим. Nur rastlose ruh't der Mensch (только в непрерывной работе отдыхает человек)—сказал я про себя, глядя на него и любуясь им.

К осени Плеханов вернулся в Женеву. Я ждал его с нетерпением. Соскучился по нем. В первый же день я ему передаю, что появилась важная новинка по биологии: солидная работа в 2-х томах Фризе о мутациях. Плеханов встрепенулся:

— А ты знаком с Фризе?..

— Читал только дельную рецензию в «Научном обозрении» (был такой журнал в России). Справился о цене—80 франков. Подержал в руках и ушел грустный...

Плеханов порывисто написал записку к книгопродавцу Жоржу:

— Передай эту записку, получишь книгу...

Я полетел к книгопродавцу Жоржу и вскоре вернулся с двумя толстыми волюмами, в тысячу слишком страниц. Глаза, чувствую, горят у меня... А Плеханов:

— Ну, где же мне их прочитать?.. Знаешь что, Осип, прочитай основательно, и для меня составь небольшой конспектик... я его и использую...

— Рад, душою рад!..—И я засел за работу. Но «конспектик» мой не понадобился: вскоре как-то Плеханов показывает мне новую работу фон-Фризе— его лекции о мутации, читанные в Калифорнийском университете. Прекрасная вещь, увлекательная—вывод из его многолетних тщательных опытов, изложенных в выше названных двух томах. Этими-то лекциями Плеханов и воспользовался для своих целей. У нас много потом было разговоров по поводу теории мутации, громадного ее значения для *революционного* марксизма.

Но я не удовлетворился только этим. Через одного моего знакомого доцента-естественника я достал ряд работ, весьма интересных, по нео-ламаркизму, витализму, в том числе и работы нашего гениального естество-испытателя Каржинского, пришедшего к тем же выводам, что и Фризе, но иным путем, совершенно независимо от него. Я дал, конечно, все эти работы Плеханову. Он остался очень доволен.

— Все это важно, Осип!.. нужно подвести естественно-научную базу под наш марксизм, и это современное, — сказал бы — *революционное* — течение в естествознании как раз нам на руку... Дарвинизм слишком долго стоял на нашем пути... пытались было и примирить его с социализмом, но выходил только конфуз один... Вот *это* новое, революционное, подлинно диалектическое естествознание...

Глаза его горели. Одним он жил: сохранить в чистоте марксизм, но не догматически, а *критически*, подводя под него несокрушимую базу, как он выражался, современного «революционного естествознания». Этим одним, повторяю, был жив Плеханов. И я радовался за него, гордился его надеждами, его непоколебимой верой... Ну, и человек-же!..

В это время я прочитал *впервые* только статью Плеханова о Чернышевском в «Социал-Демократе». Пошел к Плеханову и говорю ему:

— Жорж, это надо издать отдельно... Это очень важно и нужно сейчас...

— Ты думаешь?..

— Не думаю, а это так... Садись за работу...

— Ага, ты уж и на меня наседаешь!..

— А то как же?.. меня тренировал, тренировал, а сам отлыниваешь...

И опять посыпались на меня насмешливо-ласковые искорки...

— Ты прав, О. В.! . Я сам уже об этом подумал... и план уже готов... пишу...

Месяца через два приблизительно работа его о Чернышевском, монументальная, так сказать, работа, была уже готова и отдана в печать. Умел он работать—на редкость. Все ему было дано: и талант, и большой ум, и неимоверная работоспособность,— работоспособность по заграничному способу: *сохраняя при этом экономию труда и времени*. Живя около него, живя с ним я только чувствовал эту духовную работу под постоянным высоким давлением. Чувствовал эту насыщенную духовным атмосферу. И все было сосредоточено и направлено на одно: на марксизм, на укрепление всесторонне его позиций, на

оттачивание этого мощного оружия теории и практики. По истине, достойный ученик Маркса, по истине—его твердо-непоколебимый последователь. Он считается «основоположником» русской рабочей социалдемократии—он больше того: он ее идеолог, глубокий, чарующий, захватывающий... Он—наш учитель, обаятельный и мощный. Он переработал учение Маркса так, что получился для нас, русских, свой *русский* марксизм—великое, цельное и гармоническое построение. Плеханов—не популяризатор только, а подлинный *зодчий* русского марксизма. И не только русского. В его голове зрел план рассмотреть, исследовать искусство, поэзию, музыку, религию и этику с точки зрения марксистской философии, в свете материалистической философии, диалектически понятой Марксом. Он кое-что уже сделал в этом смысле, но то были только эскизы углем, работа вчерне, а все здание во всей красоте и великолепии носилось пока в его голове, как чудный образ архитектуры в воображении зодчего...

Зиму 1906—1907 г.г. я провел с Плехановым в Италии, в Nervi. Он настаивал на том, чтобы я с ним поехал ради нашего журнала, во первых, а также и потому, что жена моя скорей поправится в Италии, чем в Женеве, где зимою и холодно, и сыро, и ветренно. Роза Марковна тоже горячо советовала перебраться на зиму в Италию, тем более, что там можно устроиться так же экономно и удобно, как и в Женеве. Плехановы уехали раньше, а я с женою вслед за ними—приблизительно в половине октября. Я благословлял Плехановых за этот совет.

Чудный приморский штранд. Лазуревое море. Синее небо. Воздух, насыщенный бодрящим, соленым запа-

хом моря. Теплота и нега. Я с женою ожили там. Но Плеханов,—по крайней мере, на первых порах,—выглядел не важно: осунувшееся лицо, с серо-желтоватым налетом, лихорадочные глаза, усилившаяся хрипота. Устроился он недурно, даже комфортабельно на мой взгляд, но чего-то ему не хватало... Материальные его средства были тогда ограничены-таки. Старшая дочь учится в Париже, младшая в Женеве, а он с женой в Италии. Расходы большие, не по средствам. Журнальный заработок недостаточен, а прочие литературные доходы незначительны и непрочны. Его «Дневник», а также брошюры его, как «Ибсен», напр., не ахти как прибыльны. Приходилось Плеханову во многом себе отказывать, а он тратил много, очень много на журналы, книги и разные литературные и научные пособия. В медицинской же практике Розы Марковны наступил в это время перебой: женевская клиентура передана другому врачу, а в Nervi медицинской практики почти что не было. Это, возможно, удручало Плеханова, хотя он этого никогда не высказывал. А, между тем, он мог бы устроить свои материальные рессурсы блистательно. Дело вот в чем. Перед отъездом Плеханова из Женевы, к нему явился представитель одной из крупных издательских фирм (кажется, Сытина) с предложением продать ей, фирме, все сочинения его. Условия были такие: передать на сорок лет в неограниченное пользование фирмы право издательства с уплатой Плеханову суммы в размере, если не ошибаюсь, 40.000—50.000 руб. Плеханов вступил было в переговоры. Но прежде, чем заключить условие с фирмою, решил посоветоваться насчет этого с т. Соколовым (А. К. Пайкесом). Последний, познакомившись с условиями,

поставленными фирмою, нашел их совершенно неприемлемыми.

Срок слишком велик. Политические же условия в России могут в ближайшее уже время измениться в смысле широкого завоевания политической свободы, а, стало быть, и полной легализации социал-демократической партии. Литературная же ценность Плеханова не должна, не может никоим образом стать достоянием *частного* предпринимателя: она, eo ipso, достояние партии — прежде всего. Плеханов задумался. Вопрос поставлен принципиально. Здесь колебания немыслимы. И Плеханов круто порвал всякие дальнейшие переговоры с фирмой. Пришлось ему, поэтому, ограничиться случайными и менее выгодными сделками, как с издательствами С. Н. Салтыкова и Рутенберг. Но, несмотря на скудость средств и некоторые лишения, Плеханов в Nevri работал много, систематично и производительно. Собирал материал по истории искусства в Италии в эпоху ренессанса. Он и меня заразил своим примером: я собирал материалы о Лаврове и Бакунине, и Плеханов снабжал меня литературой, направлял мою работу, всячески поддерживал, и умственно, и морально. Его беседы со мною во время отдыха на штранде (берегу моря)—лучшие и самые светлые моменты моей духовной жизни. Если кого-нибудь я могу назвать «учителем», в благороднейшем смысле этого слова, то это именно Плеханова. По крайней мере, он был *моим* учителем, — глубоким, разносторонним, обаятельным. Его книги, его личные многочисленные беседы,—вот моя социалдемократическая школа, вот моя основательная марксистская выучка. Я был уже тогда пожилой, но слушал я его каждый раз, как зе-

леный юноша, с захватывающим интересом, с ученической преданностью и преклонением прозелита.

Никогда я не забывал и не забуду того, что дал мне Плеханов—этих светлых и глубоко-содержательных моментов наслаждения и упоения прелестями мысли и знания. Он был *учитель*.

Ах, если-бы он был так доступен другим, как мне!..

Как живой, стоит он предо-мною — в разные моменты, при различных условиях, и всегда неизменно обаятельный, большой, большущий...

А я пока-что живу в Нерви и буквально упиваюсь обилием света, тепла и морского воздуха. Какая прелесть! Совершенно позабыл я о том, что надо мною тяготеет меч Немезиды—царский суд. Вдруг получаю письмо от Бурцева, пишет, что обо мне справляется суд, что суд-де назначен на такое-то число. Что делать? Не долго размышляя, я решил вернуться в Россию. Во-первых, потому, что дал слово суду, а во-вторых,—и это самое важное,—не хотел оставить моих товарищей по делу, а особенно рабочих, чтобы не говорили, что улизнул, оставил их на «съедение» царским судьям... Сказал жене, чтобы готовилась в путь-дорогу. В это время в Нерви гостил Л. Г. Дейч и как раз зашел ко мне, когда получилось письмо Бурцева. Я передал ему содержание письма Бурцева, а также мое решение возвратиться в Россию и мотивы этого решения.

Л. Г. Дейч горячо одобрил мое решение. «Хорошо придумали. Правильно. Скажете речь, это будет очень важно...»

Когда Л. Г. Дейч ушел, жена, глубоко встревоженная, набросилась на меня: «нашел ты, с кем совето-

ваться?... поди к Георгию Валентиновичу и с ним посоветуйся!..» Разумно. Передал Плеханову все подробности моего дела. Слушал внимательно, блеснул на меня глазами и сказал буквально вот что:—«Будешь дурак, если поедешь... Речь скажешь?.. Кого ты этим удивишь теперь?!.. Сиди, друг любезный, дома и не рыпайся!.. Всех оправдают, а тебя *непременно* осудят... Так-то... Здесь, милый человек, не потеряешься...»

Я послушался Плеханова и остался заграницей. Плеханов оказался прозорливым. Суд почти всех оправдал (некоторым из интеллигенции было назначено лишь пустое наказание), но относительно меня, по достоверным сведениям моего хорошего знакомого, адвоката Е. С. Кальмановича, было предрешено уже, если не каторга на 4 года, то уж доподлинно лишение прав состояния и поселение. Плеханов расплатился со мною: я когда-то выпроводил его заграницу, спасая его от когтей царского правительства, он же оставил меня на чужбине, спасая меня от рук царского суда.

В конце мая 1907 года Плеханов вернулся из Италии в Женеву. Как-то раз мы разговорились с ним о Глебе Ивановиче Успенском. Плеханов очень любил Успенского, удачно цитировал его, приводил кстати его крылатые словечки, а то и целые отрывки из его очерков. Получалось что-то поистине привлекательное: юмор Успенского, плюс юмор Плеханова. Память же, к слову сказать, у Плеханова была поразительная. Он цитировал наизусть Лермонтова, Пушкина, Гоголя, лучших художников слова, как наших русских, так и заграничных. Так же он цити-

ровал авторов по разным отраслям знания и мысли. И как это только все вмещалось в его голове!.. Никогда я у него не видел записной книжки. Нужна ему справка. И что же? Он подходит к полке, вынимает требуемую им книгу и находит, что ему нужно. Смотрю в книгу: никаких пометок на полях, только отчеркнуты соответственные места страниц в книге, иной раз лишь с характерным «NB». (Notabene). И только.

Так вот, как-то раз я стал рассказывать Плеханову о жизни Глеба Ивановича в Колмовской, Новгородской губ., психиатрической колонии, где я состоял ординатором и имел возможность наблюдать Успенского два года подряд. Плеханов слушал меня с видимым интересом. Я раскрыл перед ним новый душевный мир людей, а в этом мире — душевную жизнь такой большой индивидуальности, как Глеб Успенский.

Когда я окончил, Плеханов, поблескивая по обыкновению глазами, воскликнул:

— Ты бы, Осип, об этом написал!.. как рассказывал... таких наблюдений не прячут под спуд...

— Ты уже начинаешь меня преследовать?..

— Иди домой, садись за стол, возьми перо в руки и пиши—никаких разговоров!..

— Деспот!.. Тит Титыч!..—послал я ему в ответ— и исчез.

Мысль Плеханова пришлась мне по душе. Я стал обдумывать, как взяться за эту работу, как ее выполнить. Материала у меня было не мало. Пока я обдумывал, приближалась холодная, с ветрами, осень в Женеве. Роза Марковна посоветовала нам переехать в Кларан, где климат мягче и более подходящий для

моей жены. В Кларане я засел вплотную за Успенского. Написал статью и отправил в «Русское Богатство». Статья была напечатана и встретила сочувственный прием со стороны периодической русской печати. Вдруг, уже поздно осенью, является в Кларан Плеханов. Выбегаю к нему, радостный, навстречу. А он, не здороваясь, кричит:

— Интересная страница в истории русской литературы»!.. (передаю буквально). Рад, искренно рад твоему литературному выступлению...

Два человека, скажу мимоходом, были тогда рады этому: Г. В. Плеханов и В. Г. Короленко. Первый подал мысль, второй внес в мою работу не мало своих мыслей.

Плеханов пробыл у меня весь день. Хороший это был день. Разве в обществе Плеханова может быть нехорошо? Но он не забывал своей роли «дядьки». Как же? За питомцем надо приглядеть, «надо глаз иметь». Стал спрашивать, о чем я теперь буду писать.

Я сказал ему, что Успенский захватил меня, и я задумал написать очерк об общественных типах в сочинениях Гл. Ив. Успенского. Пока-что читаю самого Успенского, изучаю.

— Отлично. Идея. Пиши, пиши!.. Не торопись— тема очень серьезная..

На этом окончилась наша беседа и мой хороший день. Пошел его проводить, а по пути зашел с ним к Рубакину — познакомить их (Плеханов об этом просил меня). Рубакин был очень польщен, а для Георгия Валентиновича он был нужен: богатая у него библиотека, которую он тут же любезно предоставил в полное распоряжение Плеханова. Они впоследствии ближе сошлись, и Плеханов посылал к Руба-

кину своих секретарей, которые по нескольку дней подряд работали в библиотеке последнего, собирая для Плеханова нужный книжный материал. Плеханов уже тогда задумал свой капитальный труд—«Историю русской общественной мысли». Пока собирался материал.

Забрав у Рубакина порядочную пачку книг, Плеханов распрощался с нами.

Поздним летом 1908 или 1909 года — точно припомнить не могу — в Женеве собрались меньшевики на конференцию, созванную, так сказать, ad hoc— по чрезвычайному поводу.

А чрезвычайный повод, прежде всего, состоял в том, *чтобы учесть работу партии во время революции 1905—1906 годов*. Задание весьма, весьма важное и в известном смысле неотложное. Пришла, наконец, столь давно ожидаемая, столь желанная революция. Как же себя вели в этот высоко-драматический исторический момент русской общественной жизни социалдемократическая партия вообще и меньшевистская ее фракция — в частности? Это — *во-первых*. А, *во-вторых*, какова должна быть тактическая линия последней в настоящую, *по-революционную* фазу российского общественного сдвига? Таковы были ближайшие задания этой меньшевистской конференции. Всех заседаний конференции было 5 или 6. Присутствовали на конференции следующие товарищи: П. Б. *Аксельрод*, Ю. О. *Мартов*, *Мартынов*, *Петров*, *Орловский* (Шавдия), *Зборовский* («Михайлов»), «*Соколов*» (А. К. Пайкес), Л. О. *Канцель*, И. Ф. *Дан* (Гуревич), «Виктор» (*Тевзай*), *Аптекман* (председатель конфе-

ренции) и один молодой товарищ, фамилию которого сейчас никак припомнить не могу, в скором времени скоропостижно скончавшийся (назову его X). Итого—12 товарищей-меньшевиков. Выступали почти исключительно Мартов и Мартынов. Оба они выслушивались с напряженным вниманием. Разногласий в существенном не было. Прения были весьма содержательные, порою горячие, а в целом—типично меньшевистские и порядочно-таки растянутые.

Я умудрился, будучи председателем и следя за порядком сессии, быть вместе с тем, по собственной охоте, и *секретарем*: бегло набрасывал на бумагу речи, положения (тезисы) ораторов буквально. К сожалению, этих набросков у меня сейчас нет под руками (может быть, они сохранились в моих бумагах заграницей), а потому могу лишь на память резюмировать конечный вывод из дебатов товарищей. Основная и руководящая резолюция конференции гласила *приблизительно* так: *принимая во внимание текущий момент, надо использовать завоеванные уже революцией легальные возможности, с целью сделать их операционной базой восстановления (реставрации) разгромленной реакцией социалдемократической партии.*

Предложен был целый ряд конкретных мер, как-то: устная пропаганда и непосредственная организация в рабочей массе социалдемократических ячеек, групп; организация социалдемократической литературы, пропагандистской, агитационной и организационной в широком масштабе; деятельное участие в избирательной кампании в Государственную Думу; использование, наконец, самой Государственной Думы, в качестве законодательного органа государства. И т. д., и т. д.

Параллельно с этим решено было издавать заграницей марксистский орган, который бы явился выразителем требований и лозунгов партии в полном их объеме—без всяких умалений и урезок.

Между прочим в программу проектировавшегося органа обязательно входило требование объективного учета работы партии во время революционного процесса, объективный анализ самого этого процесса, движущих сил пережитой революции, существа ее, хода ее, со всем богатым *фактическим* и разносторонним содержанием ее, чтобы дать, таким образом, полную и яркую картину протекавшей революции 1905—1906 годов—как *предтечи* возможного *ближайшего нового* революционного движения в России. Будущему органу решено было присвоить название «Голос Социалдемократа». Конференция, завершив свои заседания на 5-й или 6-й день, выбрала *Организационное Бюро* и *Редакционную Коллегию.* В Бюро вошли следующие товарищи: *Петров*, *Зборовский* (Михайлов), *Орловский*, *Соколов* и Л. Г. Дейч (с характерной мотивировкой Лидии Осиповны Канцель: «он может быть очень полезен для приискания средств»).

В редакцию были приглашены: *Плеханов*, *Дан*, *Мартов*, *Аксельрод* и *Мартынов.*—«Голос Социалдемократа» просуществовал, кажется, 4 года (с 1908 по 1912 г.). Первые три или пять нумеров печатались в Женеве, а с переездом Дана в Париж—в последнем городе. Помню хорошо, что первые номера были содержательны и интересны. Не то последующие. В фельетонах появились статьи Г. В. Плеханова о «вещи в себе». Статьи, конечно, умные, основательные, увлекательные, как все, что писал Плеханов. Но

меня взяло раздумье: какое все это собственно имеет отношение к *непосредственно ближайшим заданиям подпольного* революционного органа? Ведь, все, о чем в этих фельетонах трактует Плеханов, могло бы, при тогдашних даже наших цензурных условиях, быть напечатано совершенно беспрепятственно в наших *легальных* русских органах, хотя бы, например, в благонамереннейшем «Вестнике Европы», и тогда арена пропаганды *этих* идей была бы куда шире и сама пропаганда их более производительна.

Не целесообразно совершенно, — думалось мне дальше,—урезывать, хотя бы и невольно, те легальные возможности, которые de facto уже завоеваны революцией, ибо что́ легально по существу, становится запретным, когда оно трактуется подпольно. И с этими мыслями я пошел к Плеханову и высказал ему свои соображения. Плеханов сначала как бы удивился и насупился. Но я не унимался. Указал ему попутно на какой-то неприятный привкус некоторых статей в «Голосе Социалдемократа»: намеки, — правда, слабые—на какое-то упразднение или умаление некоторых элементов в социалдемократической революционной тактике.

— Совсем перестану читать этот «Голос».

Плеханов стал мрачен. Это как будто и задело его, но вместе с тем и серьезно встревожило.

— Это еще не беда!..—насмешливо возразил Плеханов, — но у тебя чуткий критический нюх... Ты, пожалуй, попал «в точку»...

— Как же быть?.. По моему, это уже—не «Голос Социалдемократа», а какой-то писк... именно писк...

— Какой же ты злой стал!.. Подождем-увидим...

Недолго пришлось, однако, ждать. Те №№, которые впоследствии мне в Кларане попадались (а попадались они не совсем аккуратно), стали уже пропагандировать какое-то «ликвидаторство» партии... Чорт знает, что такое вышло!.. Я был в полном недоумении. Но тут у меня, благодаря тому, что я не жил с Плехановым, большой пробел. Я узнал только результат: выход Плеханова из органа и полный разрыв его с редакцией органа, в том числе и с. П. Б. Аксельродом. Я был глубоко огорчен. Плеханов остался один, а быть изолированным не годится и большому даже человеку. Началась почти яростная борьба с «ликвидаторством», непримиримая, настойчивая. Это было, так сказать, второе издание его знаменитой полемики против «ревизионизма», но в более насыщенной атмосфере внутренней распри... Что-то, кроме того, произошло у Г. В. Плеханова с П. Б. Аксельродом. Какое-то личное недоразумение тяжелого свойства. Я не мог тогда в этом разобраться. Когда я, год или два спустя, встретился с П. Б. Аксельродом, приехавшим на несколько дней в Кларан, и завел с ним разговор о происшедшем разрыве его с Плехановым, то я убедился, что разрыв старых товарищей-соратников пошел очень далеко... Все это огорчало меня. Огорчала меня полная изоляция Плеханова. Против него был не только Аксельрод, но и вся группа Мартова.

Все, словом, были против Плеханова, а Плеханов один против всех. Как-то раз—не помню точно, когда, но помню, что до войны, — Плеханов, будучи в Кларане и гуляя со мною, встретился с П. П. Масловым, жившим тогда в Кларане. Плеханов прямо поставил Маслову вопрос: «отчего бы вам, П. П., не пристать к нам?»

П. П. Маслов молчал... Неужто Плеханов был так плохо осведомлен, неужто он не знал, что П. П. Маслов—в рядах так называемых «ликвидаторов»?...

Я все это отмечаю потому, что тогдашняя изоляция Плеханова меня тревожила. Может быть, не будь тогда Плеханов в полной изоляции, он бы во время войны не оказался в рядах «социал-патриотов»... Может быть.

Мои воспоминания о Г. В. Плеханове близятся к концу, к самому драматическому моменту, думается мне, его общественно-политической жизни. Плеханов очень любил, как известно, следующий марксистско-революционный афоризм: бытие определяет собою сознание, общественное бытие определяет собою общественное сознание. На самом Плеханове можно было видеть очень наглядно полное оправдание этого афоризма в то время, а именно: *во время войны*. Разразилась всемирная катастрофа, подготовлявшаяся подпольно и исподволь: грянула империалистическая война 1914 года. Казалось, что «The time is ont o joing» «Порвалась связь времен». (Шекспир).

Кларан-Монтре, этот мещанский, тихий и уютный уголок романской Швейцарии, стал вдруг ареной разыгравшихся и переливающихся через край политических международных страстей и встревоженных дум. Газеты и телеграммы чуть ли не вырываются из рук; на всех закоулках и переулках кучки разноязычных и разноплеменных людей—аборигенов-швейцарцев и пришлых иностранцев: русских, поляков, англичан, американцев и проч. и проч. Незнакомые до того люди обмениваются налету беглыми и горячими словами, в которых чуется сдержанная нота

вражды и неприязни к «бошам» («бош»—презрительное прозвище, данное французами немцам)—и, наоборот, горячей симпатии—к «союзникам».

Я перезнакомился на улице с лицами, с которыми я до того был либо лишь шапочно знаком, либо совсем незнаком. Двое кларанцев сделались, таким образом, моими знакомыми, обязательно останавливавшими меня в киоске (или книжном магазине) и вступавшими со мною в горячий обмен мнений и взглядов по поводу текущих военных событий. Вот, например, мой хозяин квартиры, плотный круглый лепщик-скульптор. Он горит глубоко затаенной ненавистью к «бошу», но он сдержан, и только стальной, холодный блеск его глаз выдает глубоко скрытую в нем ненависть... А вот прямая ему противоположность: высокий, худой, нервно-подвижный учитель; с горящими глазами и прерывающимся от волнения голосом, он изливает наружу свою ненависть, свой гнев, свои проклятия на головы всех «проклятых бошев», на извергов цивилизации и бесславных насильников...

Много, очень много наслышался в Кларане и Монтре, на улицах, в скверах, в ресторанах и прочих общественных местах подобных разговоров и суждений. Особенно в первые два месяца. Наша русская эмигрантская колония была также, само собою, охвачена подобным настроением, подобным возбуждением умов и страстей. С той только, однако, разницей, что русские, чувствуя и сознавая свое единство, свою кровную связь с своей, тоже вовлеченной в военную катастрофу, далекой, а этим еще более дорогой и милой родиной,—непосредственнее и горячее реагировали на войну. Как быть? Как ориентироваться? На какую

сторону стать *эмигрантам-социалистам* в этой кровавой распре народов?..

Помню отчетливо, как 5—6 дней спустя, по начатии уже военных действий, ко мне на квартиру неожиданно явился молодой товарищ-эмигрант, с которым я впоследствии лично хорошо сошелся, несмотря на то, что мы, по отношению к войне, были решительными антиподами,—явился, говорю я, молодой товарищ, А-др Антонович Трояновский, и прямо ребром поставил вопрос о 2-м Интернационале: существует ли он сейчас, или приказал долго жить?.. Это его мучило серьезно, как и меня самого и многих-многих эмигрантов-товарищей... На меня лично,—скажу уж попутно,—она, война, обрушилась, как каменная глыба на голову: я буквально вначале был придавлен горем, пока не очнулся с глубокой ненавистью как к *империалистической* войне, так и к ее зачинщикам,—участникам ее, *кто бы они ни были*. Я не приял этой войны и от всей души своей желал, чтобы, говоря вульгарно, их всех,—т. е. зачинщиков и вдохновителей, патриотов разного имени и звания,—все черти мира паскудного побрали... Я, помнится, в этом именно смысле и высказался, хотя тогда твердо еще не укрепился в этом взгляде (*это* пришло лишь по мере того, как война развертывалась, и ее так называемый «освободительный» характер все более доподлинно выяснялся мне...).

В этом смысле, помню, я и высказался вдумчивому А. А. Трояновскому. И Трояновский отнюдь не был исключением: вся довольно большая колония в Кларане и его окрестностях была захвачена серьезной тревогой. И вот центральная в Водском кантоне колония эмигрантов, а именно Лозанская, обратилась к

Плеханову с просьбой приехать в Лозанну и познакомить ее с ходом дел, а прежде всего—с его взглядами на войну, ее ближайшие перспективы и необходимую ориентацию. Вопросы все злободневные, жгучие, обязательно требующие прямого ответа. Плеханов приехал в Лозанну. Собрание было многочисленное, привлечена не эмигрантская только молодежь, а и учащаяся вообще. Присутствовали и Вл. И. Ленин и некоторые товарищи его.

Плеханов вошел на трибуну бодрый и изящно одетый, как всегда. Подлинный западно-европейский политический трибун-*Kulturmensch*. На столике стакан черного кофе. Никаких заметок в руках. Плавно, логично, холодно-бесстрастно потекла его речь. Холодны были и его глаза. Никаких ораторских жестов, никакой фразы... Плеханов, как *всегда* Плеханов: «*знать*, чтобы *предвидеть*, *предвидеть*, чтобы *действовать* (слова Ог. Конта). Он, помнится, начал с того, что в план его лекции, «совершенно неожиданной» для него, не входит говорить о войне. А потому он-де познакомит аудиторию с результатами его обмена мыслей с товарищами по Международному Бюро в Париже (он только что оттуда приехал). Не могу сейчас подробно передать его речь, но буквально помню заключительные ее слова:—«*психологический момент упущен, война уже началась* и... *ее надо принять*, как *fait accompli*». Ленин было сделал возражение с места, но Плеханов круто его оборвал: «это эрветизм *второй* марки» [1]...

---

[1]) Эрве (Hervet) французский синдикалист-анархист, по крайней мере *до* войны он был таковым.

А.

Ленин, очевидно, не счел нужным возобновить спор (впрочем, прения и *не* полагались по причине лекционного характера речи Плеханова). Позиция Плеханова в войне тогда не определилась еще окончательно, а потому и впечатление, полученное от его речи, было крайне неопределенное и далеко неблагоприятное для лектора.

Такое, по крайней мере, впечатление я вынес из бесед со многими, многими, бывшими на лекции. Плеханов не дал того, чего от него ждали... Это—плохой знак, и я был весьма огорчен, *вдвойне* огорчен: и за Плеханова, и за то, что, вместо хлеба, он дал... мякину только... Это—*так*.

Печально. Года полтора спустя (приблизительно) Плеханов выступил снова с большой речью о войне в Монтре. Вызвал его А. Н. Рубакин. Митинг собрался в зале одного из крупных отелей в Монтре. Стечение публики было большое: и эмигрантская колония Кларана-Монтре и окрестностей, и учащаяся молодежь, и, наконец, немало проживавших там людей из «общества», всегда падких на пикантное, на сласти, словно мухи. Этот раз Плеханов уж показал подлинное свое лицо: он выступил ярым защитником войны, решительным сторонником «союзников». Что же касается участия в этой войне царя, то он как бы невзначай проронил:.. «то с ним, с царем, особый разговор, особое дело...» (почти буквально). Плеханов, таким образом, публично и безоговорочно заявил своей речью, что он стал уже по ту сторону баррикады, перекочевал на тот берег... Плеханов—«социал-патриот», Плеханов—идеолог империалистической войны, Плеханов в трогательном единении с совершенно чуждыми ему элементами: с правыми

эсерами, с правыми эсдеками до кадета Милюкова включительно. И тогда только я вспомнил сказанные им как-то раз,—не помню по какому именно поводу,—горячие слова его:—«Я, как и Бебель, говорю: готов хотя бы с чортом связаться, лишь бы наше дело восторжествовало»...

И еще я вспомнил: роковое одиночество Плеханова в последние годы, его полная изоляция от бывших его соратников, его расхождение с давнишним его другом-товарищем, П. Б. Аксельродом. И я паки и паки ставлю вопрос: попал бы Плеханов, наш бессмертный учитель, эта марксистская гордость наша, этот идеолог *революционного* марксизма,—попал бы, говорю я, Плеханов в категорию «социал-патриотов», если бы он, по иронии судьбы, *перед* самой войной не оказался совершенно изолированным от своих бывших товарищей?.. Вопрос остается открытым.

X.

Учитель и ученик. Последнее свидание. Последнее прости.

Лето 1916 года. Сижу в своем кабинете и работаю. Вдруг раздается приветливый голос жены: «Георгий Валентинович! Георгий Валентинович! За угол направо в первую дверь». Выбегаю навстречу к неожиданно появившемуся дорогому гостю. Расцеловались. В руках у него брошюра. Но, боже, какое лицо!.. Измученное, исстрадавшееся... Темное лицо... Глубоко запавшие глаза потускнели. Мученик, истерзанный

сомнением, раздвоением, потерявший свою дорогу, потерявший самого себя... изменивший самому себе... Мне сдавило грудь. Таким я никогда не видел его. Это—не физическое страдание, не обычная скорбь душевная, а что-то глубокое, трагическое, въевшееся в его сильную, светлую душу... Что его так мучит? что его терзает?... промелькнуло у меня в голове при беглом взгляде на него. Он ранен, несомненно ранен, смертельно ранен, этот неутомимый борец... Он истекает кровью... Но кто его ранил?...

Молча подает мне брошюру «Еще о войне», с обычной его надписью: «дорогому старому товарищу Осипу». Беру ее с радостью и говорю:

— Читал я ее уже.

— Ну?..

— Разве ты можешь что-нибудь плохое написать?..

И запнулся.

— Но ты, видимо, не согласен?..

— Не согласен, Жорж!.. В основе не согласен. Наши предпосылки полярно противоположны... Ты приемлешь войну и говоришь: да будет победа!.. Я же не приемлю войны, т. е. *патриотической* войны, и говорю: да будет поражение!.. Ты думаешь, что за победой последует обновление России, я же напротив: только поражение обновит Россию, принесет гибель царской России и установит свободный строй жизни, иной государственный порядок...

— Ты рассуждаешь, Осип, как либерал...

— Либералы *так* думали,—согласен... Они могли ошибаться и не ошибаться... Если ошибались, то ошибка—в их методе мышления... Не *всегда*, конечно, поражение ведет к свободе... Это—по обстоятельствам глядя... Надо диалектически рассуждать, как

ты нас учил, а не по *аналогии...* На аналогиях далеко не уедешь... Впрочем, поговорим лучше о другом,—круто оборвал я свою речь.

— «Мне интересно было бы, чтобы ты развил свою мысль диалектически...

— Ты хорошо знаешь, что я хочу сказать... Доказательства должны быть основаны не на исторической аналогии, а на *диалектическом* процессе развития истории...

Ты говоришь, например: поражение Пруссии в войне с Бонапартом еще больше сблизило прусский народ с монархией... Кажется, так?..

— Положим...

— Ну, а я приведу такую историческую справку, тоже аналогию: поражение Наполеона III-го привело к падению 2-й империи, к третьей республике и к Парижской Коммуне... Один и тот же факт—поражение—привел к различным последствиям, ибо протекал этот факт в иной момент и при другой исторической комбинации обстоятельств...

Я остановился.

— Продолжай, я слушаю тебя со вниманием, Осип Васильевич!..

— Скажу вот что, если уже хочешь... Народ, подлинный народ—мужики и рабочие—не приемлет войны... Только одни верхи за нее: национал-патриоты наши, национал-шовинисты, представители идеологии нашей жалкой, нищей буржуазии—и только... Этим всем хочется воевать.. Солдаты же бегут и сдаются целыми корпусами... «Серая скотинка» не хочет проливать свою кровь ни за какое золото союзников... Экономическое разорение полное, престиж царского правительства все падает и падает... Революция

1906—1907 годов была лишь *прелюдией*, она не забыта народом; *подлинная* же революция,—*победная*, надвигается фатально, и военное поражение наше, также, может быть, фатально, приведет к этому...

— Ты рассуждаешь, как подлинный большевик, О. В.!..

— Ты, ведь, хорошо знаешь, что я у большевиков ничего не взял, и ничего они, большевики, мне не дали... У *тебя*, *только у тебя* я научился так рассуждать... Я тебя основательно и прилежно штудировал... Ты это хорошо знаешь... Вини в таком случае себя: *ты* мой учитель!.. я пользуюсь *твоим* методом... И если ты выработал из меня большевика, то ты, в известной мере, за это ответствен... Вот, что я хотел сказать. . Но лучше не будем продолжать спора... Ближайшее будущее рассудит нас...—заключил я горячо.

— Все это, Осип Васильевич, не в обиду тебе будь сказано—взгляд с птичьего «дезоазо»... метнул в меня Плеханов стрелу, взятую из арсенала любимого им Гл. Успенского. – Окончательный твой вывод О. В.?..

— В трех словах: долой войну!.. Земля и Воля!.. Долой царя!..

Вошла жена, встревоженная.

— Пойдемте лучше кофе пить. Ох, уж эти вечные споры, измучили они меня в последнее время в конец, Георгий Валентинович!..

— Так всегда бывает, Евгения Григорьевна, когда царство разделяется в самом себе... Тут уж ничего не поделаешь...

Мы пили кофе молча. Плеханов сосредоточенно-мрачно молчал. Торопливо вынул часы и проговорил хриплым голосом: «пора на поезд». Я пошел проводить его.

Оказалось—поторопились: пришлось еще порядочно ждать на вокзале. Мы сели на скамейку на перроне, и... молчали.

Жуткое молчание. Плеханов опустил голову. Меня охватило, сказал бы, похоронное чувство. И подлинно: то хоронили мы нашу многолетнюю дружбу, наше дорогое молодое прошлое, совместно пережитое и передуманное... Целую полосу жизни... Я мельком взглянул на Плеханова: «орел» с подбитыми крыльями, «орел»—с потухающим взором... Он не глядит уже вперед, вдаль, как это раньше бывало, его проникновенные взоры не прорезывают уж далекие, светлые перспективы грядущего,—его голова опущена... его прозорливый взгляд угас... Раненый на смерть «орел»...

Звонок. Плеханов тяжело поднялся. Расцеловались. Холодные, как у покойника, губы. 2-й и 3-й звонок задребезжали тревожно в воздухе. Плеханов, не оглядываясь, вошел в вагон. Я круто повернулся и побежал домой с камнем на сердце. Я бросился на кровать. Старый Плеханов, умница, светлая головушка, Плеханов-учитель, Плеханов-трибун, Плеханов-мыслитель выплыл в моем разгоряченном мозгу, как чудное изваяние природы... И образ раненого на смерть «орла», образ умирающего уже гладиатора растаял, как дым, как предутренняя мгла под лучами восходящего солнца... Le roi est mort, vive le roi! *Умер Плеханов «социал-патриот», жив Плеханов-марксист!..*

Больше я уже Плеханова не видел. Но я писал ему несколько раз из Кларана, направлял к нему с рекомендациями и молодых и старых, стремившихся к нему услышать его слово. И Плеханов принимал их

очень внимательно и любезно. Когда он вернулся в Россию, он не пожелал видеть старых своих друзей, с которыми идейно разошелся... И разумно. Инакомыслящие друзья—уже не друзья и не товарищи...

Увидел я Плеханова уже на смертном одре. Чудное лицо. Спящий «орел». Закатилось солнце в багряном цвете потухающего дня. Но закатившееся солнце—все-таки солнце, а багряный цвет—цвет *конечной* борьбы пролетариата за его освобождение. И день этот придет, ибо «русская революция победит, как революция пролетариата, или совсем не победит». Так говорит Заратрустра-Плеханов. И день этот занимается уже. Умер «орел». Спи, орел мой, спи мирно!.. Я прильнул губами к холодному лбу его и медленными шагами побрел по Петрограду—куда глаза глядят...

Март—1923.





Цена 40 к.

Кооперативное Книгоиздательское Товарищество
«КОЛОС»
Ленинград, пр. Володарского, 21, кв. 14.
Телефон 5-66-23.

